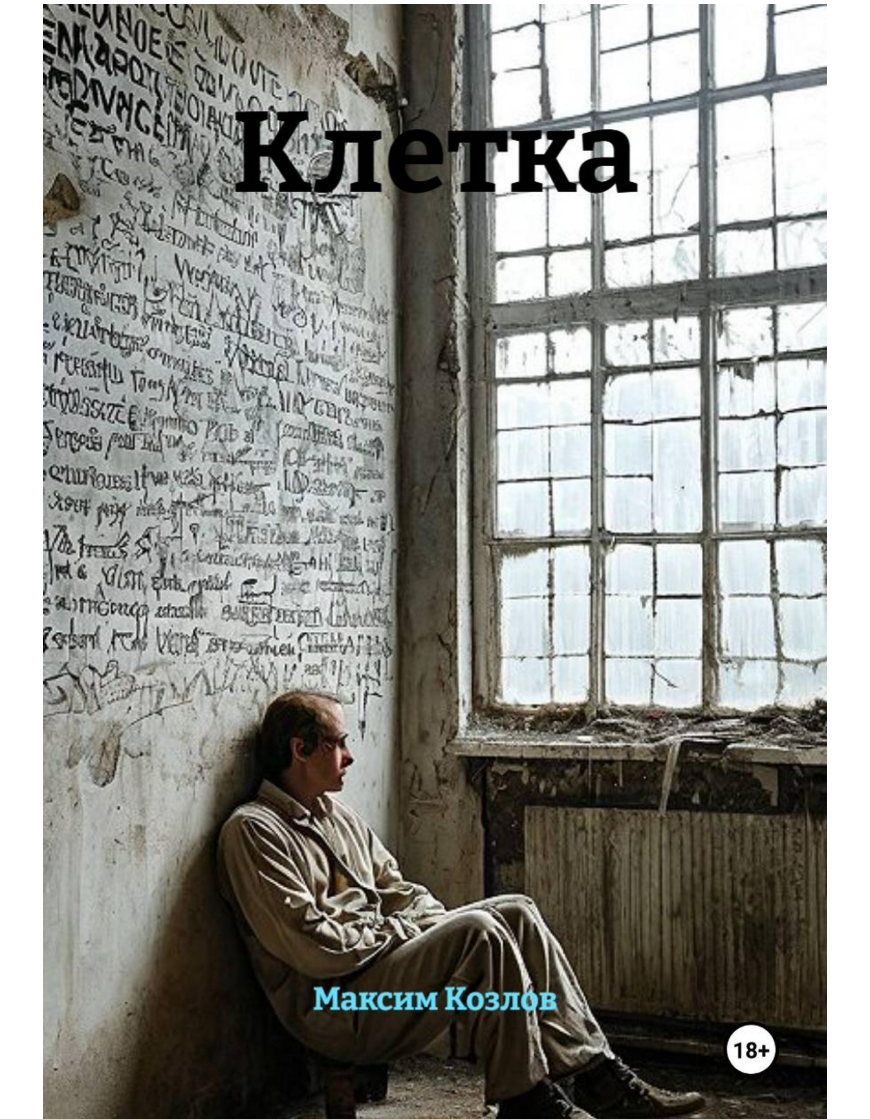


Клетка

A man with a shaved head and a beard, wearing a light-colored button-down shirt and trousers, sits on the floor of a prison cell. He is leaning against a wall covered in dense, multi-colored graffiti. To his right is a large, multi-paned window with a metal frame. The room appears stark and institutional.

Максим Козлов

18+

Максим Козлов

Клетка

<https://litres.ru/74246759>

SelfPub; 2026

Аннотация

Что делает человека человеком — природа или воспитание? Ответ на этот вопрос пытается найти эксперимент, страшнее которого не придумать. Главный герой с рождения заточён в пустую комнату. Ни людей, ни речи, ни книг, ни музыки — лишь стены, еда и одностороннее зеркало, за которым наблюдают учёные. Годами он остаётся животным, реагирующим на раздражители. Но затем начинает замечать себя, создавать язык, писать на стенах свою историю. В 19 лет он выбирается из камеры и впервые видит тех, кто держал его в клетке. Дальше — долгий путь к речи, прощению, свободе.

«Клетка» — роман о том, как тонка грань между зверем и человеком, о цене каждого слова и тяжести каждого взгляда. Написанный в суровом, лаконичном стиле, он проводит читателя через кромешную тьму одиночества к свету — хрупкому, выстраданному, но настоящему. Это книга-потрясение, после которой вы больше никогда не сможете воспринимать человеческую речь как данность.

Содержание

СУЩЕСТВО БЕЗ ИМЕНИ	4
ПЕРВОЕ ОТРАЖЕНИЕ	21
ЯЗЫК БЕЗ СЛОВ	38
ТЕ, КТО ЗА СТЕКЛОМ	54
ПИСЬМЕНА НА СТЕНЕ	68
Конец ознакомительного фрагмента.	80

Максим Козлов

Клетка

СУЩЕСТВО БЕЗ ИМЕНИ

Сначала была только тьма. Не та тьма, которую знаете вы — когда закрываете глаза и видите темноту, зная, что есть свет, и зная, что вы — это вы, и что у темноты есть имя. Нет. Та тьма была другой. Она была всем. Она не имела границ, потому что не было ничего, с чем можно было бы её сравнить. Она не была пугающей. Она не была успокаивающей. Она просто была. Как вода для рыбы. Как воздух для птицы. Как тишина, которая никогда не знала звука.

В этой тьме что-то шевелилось. Это что-то не знало, что оно шевелится. Оно не знало, что оно — что-то. Оно не знало, что такое «знать». Оно реагировало. Внутри него возникало давление, напряжение, какое-то сжатие — и оно издавало звук. Звук был резким и высоким. Звук заполнял тьму, а потом исчезал, и тьма снова становилась тихой. Существо не понимало, что это его звук. Оно не понимало, что у звука есть источник. Оно не понимало, что оно — источник.

Потом приходило тепло. Тепло появлялось из ниоткуда — так же, как и звук. Тепло обволакивало существо, и напряжение внутри ослабевало. Существо затихало. Оно не свя-

зывало звук и тепло. Оно не связывало напряжение и облегчение. Оно просто переходило из одного состояния в другое, как вода переходит из жидкого в твёрдое, не зная, что она вода, не зная, что она стала льдом.

Иногда приходила боль. Боль была другой. Она была острой и требовательной. Она не обволакивала, а вгрызалась. Она заставляла существо издавать другие звуки — более резкие, более громкие, более отчаянные. И тогда тепло уходило. Или приходило что-то холодное. Или что-то мокрое. Существо не различало эти вещи. Оно просто переходило из состояния «боль» в состояние «не-боль», и обратно. Это был весь его мир.

Это был первый год.

Нет, неправильно. Существо не знало, что такое год. Оно не знало, что такое время. Для него не было «до» и «после». Был только бесконечный момент, который длился и длился, и в этом моменте иногда что-то менялось, но эти изменения не складывались в последовательность. Они просто случались, как волны на поверхности воды — одна, другая, третья, но волны не помнят друг друга, и вода не помнит волн.

Существо лежало на чём-то сухом. Это сухое иногда становилось мокрым — от него самого. Оно не знало, что это моча. Оно не знало слов. Оно просто чувствовало влагу, и влага была холодной и неприятной, а потом высыхала, и снова становилось сухо. Иногда от существа исходило что-то ещё — более твёрдое, с резким запахом. Оно не знало, что

это кал. Оно не чувствовало отвращения. Оно иногда трогало это руками, размазывало по полу, по себе. Запах был сильным. Руки становились липкими. Потом это высыхало и осыпалось. И всё.

Оно ело. Еда появлялась из ниоткуда. В стене открывалось отверстие, и оттуда выдвигалась миска с чем-то тёплым, жидким, питательным. Существо не понимало механизма. Оно не видело связи между своими действиями и появлением еды. Еда просто возникала, когда внутри нарастало то самое давление, то самое сжатие — только теперь существо уже связывало это сжатие с последующим облегчением. Не сознательно. Не словами. Просто на уровне тела: когда сжимается — потом приходит еда. Если не сжимается — еда не приходит. Это не было мыслью. Это было паттерном. Как у растения, которое поворачивается к солнцу. Как у червя, который отползает от соли.

Оно не видело себя. В комнате не было зеркал — но если бы и были, оно бы не узнало отражение. Оно не знало, что у него есть лицо. Что у него есть руки, ноги, тело. Оно двигало конечностями, но не связывало эти движения с собой. Рука появлялась перед глазами — розовая, с пятью отростками — и существо иногда смотрело на неё, но не понимало, что это часть его самого. Оно пыталось ухватить эту руку другой рукой — и одна рука хватала другую, и существо тянуло, и было странное ощущение: что-то тянет и что-то тянется одновременно. Это было интересно на долю секунды, а

потом интерес исчезал, потому что существо не умело удерживать внимание. Внимание было не функцией, а случайностью. Как луч фонаря, который на мгновение выхватывает что-то из тьмы, а потом гаснет.

Оно спало. Сон был главной частью существования. Не потому что существо уставало — хотя оно и уставало, — а потому что во сне не было ничего. Во сне исчезало даже то смутное, бесформенное ощущение существования, которое было у него в бодрствовании. Сон был чистой тьмой, без снов, без образов, без чувств. Просто провал. Просто небытие. А потом оно просыпалось — и снова было.

Просыпалось — неправильное слово. Оно не просыпалось, потому что не засыпало. Оно просто переходило из одного режима в другой. Как телевизор, который выключили, а потом включили снова — но телевизор не знает, что его выключили, и не знает, что его включили. Он просто показывает помехи, потом гаснет, потом снова показывает помехи.

Помехи. Вот что такое было его сознание в первые годы. Белый шум. Случайные вспышки ощущений. Боль — тепло — голод — насыщение — мокро — сухо — звук — тишина. Ни одно из этих ощущений не имело названия. Ни одно не было связано с другим в причинно-следственную цепь. Они просто возникали и исчезали, как искры от костра.

Учёные за стеклом наблюдали.

Их было пятеро. Главный — профессор Берг, высокий, седой, с лицом, которое никогда не улыбалось. Он придумал

этот эксперимент двадцать лет назад, ещё до того, как нашёл финансирование. Он защищал его перед комиссиями по этике — трижды. Трижды получал отказ. На четвёртый раз он нашёл частных инвесторов, которым было плевать на этику. Они хотели данные. Чистые данные о том, что такое человек, если убрать всё человеческое.

Его ассистентка — доктор Ким, молодая, нервная, с вечно покусанными губами. Она подписывала документы о неразглашении дрожащей рукой. Она говорила себе, что это ради науки. Она повторяла это каждое утро перед зеркалом. В зеркале отражалась женщина, которая не верила своим словам.

Техник — Ларсен, толстый, лысеющий, с одышкой и вечно потными ладонями. Ему было всё равно. Он следил за оборудованием. Насосы подавали воздух. Термостаты держали температуру 21 градус. Автоматические кормушки выдвигали миски три раза в сутки. Камеры записывали каждое движение существа. Ларсен получал хорошие деньги. Он не думал о существе. Он думал о пенсии.

Психолог — доктор Морено, седой, с тихим голосом и печальными глазами. Он присоединился к проекту позже всех и сразу пожалел об этом. Он смотрел на мониторы и видел не данные, а ребёнка. Ребёнка, который никогда не слышал колыбельной. Которого никогда не брали на руки. Который не знает, что такое улыбка. Морено пил по вечерам. Он пытался уйти из проекта дважды — и оба раза возвращался,

потому что хотел увидеть, чем всё кончится. Он ненавидел себя за это любопытство.

И пятый — стажёр, Маркус, двадцать три года, амбициозный, жестокий по-молодому, ещё не научившийся маскировать жестокость под научный интерес. Он говорил «объект» и «испытываемый». Он никогда не говорил «он» или «ребёнок». Он мечтал о диссертации. Он представлял, как будет выступать на конференциях, и зал будет ахать, и старые профессора будут качать головами и говорить: «Колоссально. Чудовищно, но колоссально».

Они сидели в комнате наблюдения, отделённой от комнаты существа толстым односторонним стеклом. Стекло было бронированным. Его нельзя было разбить. С той стороны оно выглядело как зеркало — мутное, тёмное, ничего не отражающее толком. Существо иногда смотрело в эту сторону, но не видело ничего, кроме серой стены.

Они записывали всё.

— Субъект проснулся в 06:12, — говорил Ларсен, глядя на мониторы. — Дефекация в 06:47. Кормление в 07:00 — съел 230 граммов смеси. Вокализация с 07:23 до 07:38 — предположительно, реакция на мокрую подстилку.

Вокализация. Так они называли крик. Слово «плач» они не использовали — оно было слишком человеческим. Они говорили «вокализация», и это помогало им сохранять дистанцию. Слова меняют восприятие. Если назвать крик «вокализацией», он перестаёт быть криком о помощи. Он ста-

новится акустическим феноменом. Данные.

Берг вёл основной дневник наблюдений. Он писал от руки, в толстой кожаной тетради, старомодной перьевой ручкой. Он не доверял компьютерам. Он говорил: «Электронные записи можно взломать, изменить, удалить. Бумага — честнее. Если мы сожжём бумагу, от неё останется пепел. Если мы сотрём файл, от него не останется ничего». Он писал каждый день, даже когда ничего не происходило. В те дни он писал: «Ничего не произошло». Он считал это важным. Ничего — это тоже данные. Ничего — это тоже часть эксперимента.

Вот запись из его дневника, третий месяц эксперимента: «Объект демонстрирует базовые рефлексy. Реагирует на голод криком. Реагирует на насыщение прекращением крика. Связь между стимулом и реакцией прямая, без промежуточных звеньев. Никаких признаков формирования памяти. Никаких признаков самосознания. Объект не узнаёт собственную руку. При поднесении руки к лицу наблюдаются попытки схватить руку ртом — так же, как объект хватается ртом край миски. Это ожидаемо. Без социального взаимодействия и зеркал формирование схемы тела невозможно или крайне затруднено. Мы это предполагали. Теперь мы это видим».

И ниже, другим почерком — Ким делала заметки на полях: «Это не "объект". Это ребёнок. Я слышу, как он кричит. Я слышу этот крик даже дома, когда ложусь спать. Я слышу

его в тишине. Тишина теперь звучит как его крик».

Берг видел эти заметки. Он не стирал их. Он даже не комментировал. Он считал, что эмоции ассистентов — тоже часть экспериментального контекста. Потом, когда проект закончится, эти заметки станут дополнительным материалом. Они покажут, как эксперимент влиял на самих экспериментаторов. Это тоже наука.

К концу первого года существо начало демонстрировать новые паттерны.

Оно научилось ждать. Не осознанно — на уровне тела. Когда в животе начиналось то самое сжатие, оно больше не кричало сразу. Оно затихало. Оно прислушивалось. Оно ждало. Потому что еда всегда приходила через какое-то время после сжатия. Это не было пониманием времени — существо всё ещё не знало, что такое «время» и «ждать». Но его тело уже выработало ритм. Сжатие — пауза — еда. Сжатие — пауза — еда. Как сердцебиение. Как дыхание.

Оно также научилось различать свои конечности. Не сознать их своими — до этого было ещё далеко. Но оно заметило, что некоторые вещи в поле зрения движутся, когда оно хочет, чтобы они двигались, а некоторые — нет. Миска не двигалась, сколько бы оно ни хотело. Стены не двигались. Но розовые штуки с пятью отростками — они двигались. Иногда они касались друг друга. Иногда они касались лица — и тогда было двойное ощущение: что-то касается лица, и что-то касается чего-то. Это было странно. Это было ново. Это

было первым зачатком различения «я» и «не-я», хотя существо ещё не знало этих слов и не знало этих понятий.

Оно начало играть с собственными руками. Это была первая игра в его жизни. Оно подносило руку к лицу и рассматривало её. Оно шевелило пальцами — и пальцы шевелились. Оно сжимало их в кулак — и они сжимались. Оно разжимало — и они разжимались. Это было магией. Это было единственной магией, доступной ему в этой пустой комнате. Контроль. Оно могло контролировать эти розовые штуки. Они подчинялись ему. Больше ничто в мире ему не подчинялось.

Учёные заметили это. Берг записал в дневнике:

«Месяц 14. Объект демонстрирует продолжительный интерес к собственным конечностям. Наблюдаются повторяющиеся движения: сжатие-разжатие пальцев, поднесение рук к лицу, попытки схватить одну руку другой. Это можно интерпретировать как зачатки исследования. Объект исследует то, что позже станет его телом. Пока это неосознанное исследование. Объект не понимает, что руки принадлежат ему. Но он замечает корреляцию между "желанием" (если можно так выразиться) и движением. Это первая корреляция, которую он устанавливает. Это первый шаг к выделению себя из среды».

Ким добавила на полях: «Он играет. Ему скучно. Ему одиноко. Он играет сам с собой, потому что больше не с чем играть. Господи, ему четырнадцать месяцев, а он уже знает одиночество. Он не знает слова "одиночество", но он знает

само одиночество. Оно у него в костях. Оно у него в крови. Оно — единственное, что у него есть».

Морено, читая эти заметки, кивал. Он понимал Ким. Он тоже не мог спать. Он тоже слышал крик в тишине. Но в отличие от Ким, он не писал заметок на полях. Он вёл свой собственный дневник, который прятал от Берга. В этом дневнике он писал то, что не мог сказать вслух:

«Мы создаём монстра. Не в том смысле, что он будет опасен — хотя, наверное, будет. Мы создаём монстра в том смысле, что мы берём человеческое существо и методично, шаг за шагом, лишаем его всего человеческого. Мы смотрим, что останется. Это как сдирать кожу, слой за слоем, и смотреть, что под ней — мышцы, кости, кровь. Но человек — не луковица. Если снять все слои, не останется сердцевины. Останется пустота. Мы создаём пустоту в форме человека. И однажды эта пустота посмотрит на нас. И мы увидим в ней себя».

Он прятал дневник в ящике стола, под замком. Он боялся, что Берг найдёт. Берг и так смотрел на него с подозрением. Берг вообще смотрел на всех с подозрением. Он был человеком, который превратил паранойю в научный метод.

К концу второго года существо начало издавать звуки целенаправленно.

Не просто кричать от голода или боли. Не просто вокализировать. А издавать звуки, чтобы что-то произошло. Оно заметило, что определённые звуки предшествуют опре-

делённым событиям. Не то чтобы оно понимало причинно-следственную связь — но его тело, его мозг, его нейроны уже прокладывали пути между «звук» и «результат». Это было началом. Началом чего — тогда ещё никто не знал.

Оно лежало на спине и гулило. Гулило — человеческое слово. Младенцы гуляют, когда они сыты, когда им хорошо, когда они чувствуют присутствие матери. Это существо гулило в пустой комнате. Оно гулило само себе. Звук отражался от стен и возвращался к нему — единственное эхо, единственный ответ, который оно когда-либо получало. Оно не знало, что это эхо. Оно думало, что кто-то отвечает. Может быть, стена. Может быть, воздух. Может быть, оно само — но оно ещё не знало, что значит «само».

Оно начало повторять звуки. Сначала случайно. Оно издавало «а-а-а» — и слышало «а-а-а» в ответ. Оно замолкало. Потом снова «а-а-а» — и снова ответ. Это было похоже на игру. Первую социальную игру в его жизни — хотя оно играло в неё с самим собой. Или с эхом. Или с комнатой. С тем, что могло ответить.

Берг заметил это. Запись в дневнике:

«Месяц 22. Объект демонстрирует циклические вокализации. Издаёт звук, замолкает, слушает эхо, повторяет звук. Это можно интерпретировать как зачатки имитационного поведения. Объект имитирует сам себя. При отсутствии внешней модели для подражания это ожидаемый компенсаторный механизм. Однако стоит отметить, что объект, по-

видимому, воспринимает эхо как отдельный стимул. Он не осознаёт, что это его собственный звук, отражённый от стен. Для него это голос Другого. Первый Другой в его жизни — это он сам, но он этого не знает».

Морено прочитал это и записал в своём тайном дневнике.

«Он разговаривает с эхом. Он думает, что комната отвечает ему. Это его первый друг. Его первый собеседник. Стена. Чёртова бетонная стена, которая даже не слушает. Которая просто отражает звук по законам физики. А он — он вкладывает в это смысл. Он ищет контакта. Он создан для контакта. Мы все созданы для контакта. Это врождённое. Это то, что невозможно отнять — даже если отнять всё остальное. Он всё равно будет искать другого. Даже если другой — это просто эхо».

Ким пришла к Морено вечером. Они сидели в его кабинете, пили кофе, который уже давно остыл, и смотрели друг на друга. Ким сказала:

— Я больше не могу.

— Я знаю, — сказал Морено. — Я тоже не могу.

— Но мы продолжаем.

— Да. Мы продолжаем.

— Почему?

Морено долго молчал. Потом сказал:

— Потому что если мы уйдём, здесь останутся только Берг и Ларсен. И Маркус. И для них он станет просто объектом. Просто данными. Просто результатом. А пока мы здесь — он

хотя бы для кого-то человек. Даже если он никогда об этом не узнает.

Ким кивнула. Она не заплакала. Она уже разучилась плакать за эти два года.

На третий год что-то изменилось.

Существо — теперь ему было почти три года, хотя оно этого не знало — существо начало проявлять признаки чего-то, что можно было назвать эмоциями. Не просто рефлекс-торными реакциями на боль или голод. А чем-то более сложным. Чем-то, что напоминало скуку. Чем-то, что напоминало гнев.

Оно больше не лежало пассивно. Оно ползало по комнате. Оно обследовало углы. Оно трогало стены. Оно пробовало их на вкус — холодный бетон, безвкусный, твёрдый. Оно пыталось ковырять стены пальцами. Ногти ломались, было больно, оно кричало — но потом снова ковыряло. Снова и снова. Как будто оно знало, что за стенами что-то есть. Не знало, конечно. Но чувствовало. Чувствовало, что его мир — не весь мир. Что есть что-то ещё. Что-то, что прячется за серым бетоном.

Оно нашло миску. Миска была металлическая, тяжёлая, с остатками каши. Оно начало бить миской по полу. Звук был громким, резким, непохожим на всё, что оно слышало раньше. Существо замерло, прислушалось. Потом ударило ещё раз. И ещё. И ещё. Это был ритм. Это была музыка — первая музыка в его жизни. Оно колотило миской по бетонному по-

лу и слушало, как звук отражается от стен. Оно смеялось — не осознавая, что это смех. Просто издавало короткие выдыхательные звуки, которые у людей называются смехом.

Ларсен сказал:

— Оно развлекается. Смотрите, оно играет.

Маркус поправил его:

— Объект демонстрирует манипулятивную активность с предметом. Это не игра. Это исследование среды.

Берг записал в дневнике:

«Месяц 34. Объект использует миску как инструмент для производства звука. Наблюдается повторяющийся паттерн: удар — пауза — реакция на эхо — повторный удар. Это можно интерпретировать как зачатки музыкального поведения. Также можно интерпретировать как попытку воздействия на среду. Объект впервые не просто пассивно принимает стимулы, но активно создаёт их. Это важный этап. Субъектность начинает формироваться через действие».

Но он не написал того, что видел Морено. А Морено видел другое. Он видел, что существо пытается докричаться. Что оно бьёт миской не просто ради звука, а потому что хочет, чтобы кто-то ответил. Эхо — это уже недостаточно. Эхо — это просто отражение. А ему нужен ответ. Настоящий. Живой. Другой.

Но никто не отвечал.

Существо колотило миской час, два, три. Ничего не менялось. Стены не открывались. Зеркало на стене оставалось

тёмным и безмолвным. Никто не приходил.

И тогда оно закричало.

Это был новый крик. Не крик голода, не крик боли. Это был крик ярости. Крик отчаяния. Крик, в котором было всё: одиночество, скука, гнев, непонимание. Крик, который говорил — хотя в нём не было слов — «почему?», «где вы?», «ответьте мне», «я здесь», «не оставляйте меня», «я существую, чёрт возьми, я существую, разве вы не видите, я существую».

Оно не знало этих слов. Оно не знало никаких слов. Но крик содержал их все.

Ким закрыла лицо руками. Ларсен увеличил громкость микрофонов, чтобы записать крик для акустического анализа. Маркус что-то записывал в блокнот — быстро, жадно, как хищник, который почуял добычу. Берг стоял у стекла и смотрел. Только Морено заметил, что его руки — руки Берга, всегда такие спокойные, такие твёрдые — слегка дрожали.

Существо кричало четыре часа. Потом охрипло. Потом заснуло прямо на полу, обняв миску, как другие дети обнимают игрушечного медведя.

Учёные разошлись по домам. Никто не говорил о том, что случилось. Они сели в свои машины и поехали по своим квартирам, и каждый из них нёс этот крик с собой. Ким включила телевизор, чтобы заглушить тишину, но телевизор не помог. Морено открыл бутылку виски — не для удоволь-

ствия, а для анестезии. Ларсен лёг спать и спал без снов, потому что его мозг защищал себя, отключая всё лишнее. Маркус до трёх ночи пересматривал записи, делал пометки, анализировал спектрограммы крика. Он находил это захватывающим.

Берг сидел в своём кабинете. Он открыл дневник и долго смотрел на пустую страницу. Потом написал только одну фразу:

«Сегодня объект впервые проявил то, что можно назвать прото-эмоцией второго порядка. Не реакция. Не рефлекс. Чувство. Направленное. Осмысленное. Это то, ради чего мы начинали эксперимент. И я не знаю, рад ли я этому».

Он закрыл дневник. Выключил свет. И долго сидел в темноте.

Существо в своей комнате тоже лежало в темноте. Ночью свет выключали — не для того, чтобы создать режим дня, а для экономии энергии. Существо не знало, что такое ночь. Для него просто иногда становилось темно. В темноте оно чувствовало себя спокойнее. Темнота была знакомой. Темнота была первой вещью, которую оно узнало в своей жизни — ещё до того, как узнало свет. Темнота была почти другом.

Оно прижималось щекой к холодному полу и дышало. Миска лежала рядом. Пальцы болели от ударов. Горло саднило от крика. Но внутри, где-то глубоко, под слоями боли и усталости, зарождалось что-то новое. Что-то, чему ещё не было названия. Что-то, что позже станет мыслью.

Оно не знало, что такое мысль. Оно не знало, что такое «я». Но что-то уже начинало складываться. Как пазл, в котором пока только два кусочка, и они не соединяются, но уже лежат на столе, и когда-нибудь — через много лет — они встанут на место.

На потолке камеры мигала красная лампочка. Запись продолжалась. Камера смотрела на существо своим стеклянным глазом, бесстрастно, безжалостно, вечно. Существо не знало о камере. Оно не знало, что за ним наблюдают. Оно не знало, что оно — эксперимент.

Оно просто лежало в темноте и дышало. И где-то на границе между сном и явью, между тьмой и светом, между «есть» и «нет» — что-то шевелилось. Что-то, что через много лет скажет:

«Я помню тьму. И свет. Тьма была роднее».

Но это будет потом. А пока — тишина. Красная лампочка. Дыхание. Тьма.

ПЕРВОЕ ОТРАЖЕНИЕ

Ему было пять лет. Он не знал этого. Он не знал, что такое «пять», что такое «лет», что такое «ему». Но его тело знало. Тело росло, вытягивалось, набирало массу. Автоматические кормушки теперь выдавали больше смеси — восемьсот граммов в сутки вместо трёхсот. Ларсен перенастроил таймеры, не спрашивая разрешения у Берга. Просто заметил, что объект худеет, и увеличил порции. Это было единственное проявление заботы, на которое Ларсен был способен — перенастроить таймер.

Комната не менялась. Те же серые стены, тот же бетонный пол, то же зеркало на северной стене. Но для существа комната стала другой. Она уменьшилась. Не физически — физически она осталась прежней, четыре на четыре метра, двадцать кубов воздуха, — но психологически. Она стала тесной, знакомой, исхоженной. Существо знало каждую трещину в бетоне, каждый выступ, каждое пятно плесени в углу. Оно знало их не именами — имён не было, — а телом. Тело помнило текстуру стен, холод пола, шершавость потолка, до которого оно теперь могло дотянуться, встав на цыпочки.

Оно выросло. Метр десять. Светлые волосы, спутанные, грязные, свисали до плеч. Ногти длинные, местами обломанные, с чёрной каймой грязи. Кожа бледная, почти прозрачная — свет из единственной лампы под потолком, казалось,

проходил сквозь неё. Глаза светло-серые, с постоянным прищуром — комната была ярко освещена шестнадцать часов в сутки, и глаза не привыкли к темноте по-настоящему. Вернее, привыкли к постоянному, неизменному, мёртвому свету люминесцентной лампы.

Оно ходило. Ходило кругами. Это был главный паттерн его дней — круги. От одной стены к другой, четыре шага, поворот, ещё четыре шага. Иногда оно меняло направление. Иногда ходило по диагонали. Иногда сидело в углу, обхватив колени руками, и раскачивалось — вперёд-назад, вперёд-назад. Ритм успокаивал. Ритм был единственной константой в мире, где всё остальное было непредсказуемо.

Непредсказуемо — не в смысле событий. Событий не было. Еда приходила три раза в сутки. Свет гас и зажигался по расписанию. Всё было предсказуемо до тошноты. Но внутри — внутри что-то менялось. Что-то, чему оно не могло дать названия, но что ощущалось как давление. Как будто в груди рос воздушный шар. Как будто голова наполнялась туманом. Как будто что-то требовало выхода, но выхода не было.

Это были зачатки эмоций. Не просто голод и насыщение, боль и комфорт. Нет. Это были чувства, направленные в никуда. Тоска без предмета. Гнев без причины. Страх без угрозы. Они возникали изнутри, из самого факта существования, и заполняли всё пространство, и им некуда было деваться.

Существо начало говорить с собой.

Не словами. Слова ещё не родились. Но оно издавало зву-

ки — не для того, чтобы получить еду или тепло, а просто так. Чтобы нарушить тишину. Тишина стала невыносимой. Тишина была как стена, которая давила на уши, на мозг, на всё тело. И существо разбивало её звуками. Гортанными. Шипящими. Цокающими. Оно щёлкало языком и слушало эхо. Оно гудело низким гудением, которое резонировало в груди. Оно выло — долго, протяжно, на одной ноте, пока воздух в лёгких не заканчивался. И тогда тишина возвращалась, но теперь она была другой — не пустой, а наполненной ожиданием. Ожиданием следующего звука.

Оно изобрело ритуал. Каждое утро, когда зажигался свет, оно садилось в центре комнаты и начинало гудеть. Гудение длилось ровно столько, сколько требовалось, чтобы свет перестал казаться чужим. Чтобы комната стала своей. Чтобы день начался. Это была молитва без бога. Это было приветствие без адресата. Это был способ сказать миру: я здесь.

Морено заметил это первым.

— Оно поёт, — сказал он на утреннем совещании. — Каждое утро, одно и то же. Это ритуал.

— Это самостимуляция, — поправил Берг. — Типичное поведение в условиях сенсорной депривации. Ничего необычного.

— Для нас — ничего необычного, — сказал Морено. — Для него — это способ сохранить рассудок.

Берг посмотрел на него долгим взглядом.

— Рассудок? — переспросил он. — Вы полагаете, у объ-

екта есть рассудок, который можно сохранить?

— Я полагаю, — медленно сказал Морено, — что мы не знаем, что у него есть. Мы предполагаем отсутствие. Но мы не знаем наверняка. Никто никогда не проводил таких экспериментов. Мы — первые. У нас нет контрольной группы. У нас нет прецедентов. Мы в темноте.

— Мы и есть контрольная группа, — сказал Берг. — Мы — норма. А он — отклонение. И мы изучаем, как далеко заходит отклонение.

Ким молчала. Она больше не спорила. За пять лет она научилась молчать. Это был единственный способ остаться в проекте и не сойти с ума — молчать, делать свою работу, записывать данные, а потом идти домой и пить. Она пила теперь чаще, чем Морено. Вино, в основном. Красное. Оно оставляло следы на губах, и она тёрла их салфеткой, и салфетка становилась розовой. Она смотрела на розовую салфетку и думала: вот цвет моей души. Розовый, как разбавленная кровь.

Маркус защитил диссертацию. Она называлась «Формирование первичных когнитивных структур в условиях абсолютной социальной депривации». Он получил степень с отличием. На защите присутствовали члены комиссии, которые не знали, что объект реален. Маркус представил всё как компьютерное моделирование. Никто не задавал лишних вопросов. Никто не хотел знать правду. Правда была неудобной.

После защиты Маркус напился и признался Ким, что иногда ему снится комната. Что он видит себя внутри неё. Что он просыпается в холодном поту и не может понять, где стены.

— Это нормально, — сказала Ким. — Это значит, что ты ещё человек.

— А он? — спросил Маркус. — Он человек?

Ким не ответила. Она не знала ответа.

И вот, на пятом году, в один из дней, который ничем не отличался от других дней, что-то произошло.

Существо сидело в углу. Ему только что принесли еду — миску с кашей, тёплой, безвкусной, питательной. Оно ело руками, зачерпывая кашу и отправляя в рот. Часть каши падала на пол. Часть — на грудь. Оно не замечало этого. Оно не знало, что такое опрятность.

Поев, оно отставило миску и потянулось. Тело затекло от долгого сидения. Оно встало и пошло по комнате — круг, ещё круг, ещё. Потом остановилось у лужи.

Лужа образовалась из пролитой воды. В углу комнаты была поилка — металлический сосок, из которого капала вода, если нажать зубами. Существо пило, но иногда вода проливалась на пол. Лужа была небольшая, сантиметров двадцать в диаметре, но вода была чистой и неподвижной.

Существо наклонилось.

Оно часто наклонялось к лужам. Оно рассматривало их. Вода блестела под лампой, и это было красиво — единственное красивое, что было в его мире. Оно трогало воду паль-

цем, и по воде шли круги, и это тоже было красиво. Но сегодня оно наклонилось ниже, чем обычно, и замерло.

Из лужи на него смотрело лицо.

Оно отдёрнулось. Лицо исчезло. Оно снова наклонилось — лицо вернулось. Оно смотрело на лицо, и лицо смотрело на него. Глаза в глаза. Светлые, как у него самого. Волосы спутанные, как у него самого. Рот приоткрыт.

Существо протянуло руку. Лицо в луже тоже протянуло руку. Их пальцы встретились — коснулись друг друга сквозь воду. Вода была холодной. Палец существа разбил отражение, и лицо исчезло, рассыпалось рябью. Существо отдёрнуло руку. Подождало, пока вода успокоится. Лицо вернулось.

И тогда существо закричало.

Это был не крик голода и не крик боли. Это был крик ужаса. Потому что оно не знало, что это такое — лицо в луже. Оно не знало, что это отражение. Оно не знало, что это оно само. Для него это был Другой. Другой, который жил в луже. Другой, который смотрел и молчал. Другой, который исчезал и возвращался. Другой, который был похож на него, но не был им — потому что как он мог быть им, если он там, в воде, а сам он — здесь, над водой?

Оно кричало и било ладонями по луже. Вода разлеталась. Лицо исчезало и появлялось снова, и исчезало, и появлялось. Существо не могло его уничтожить. Оно не могло до него дотянуться. Оно не могло заставить его ответить. Это было мучительно. Это было первым настоящим контактом

— и контакт провалился.

Наконец, обессиленное, оно легло на пол рядом с лужей и заплакало. Слёзы капали в воду, смешивались с ней, и отражение дрожало и искажалось. Существо смотрело на него сквозь слёзы и не понимало. Оно не понимало ничего.

Учёные за стеклом молчали.

Ларсен забыл про свои мониторы. Ким закрыла рот рукой. Морено подался вперёд, чуть не прижавшись лицом к стеклу. Маркус лихорадочно записывал, но его ручка дрожала — он порвал бумагу и выругался шёпотом. Берг стоял неподвижно, только желваки играли на скулах.

— Что это было? — спросил Ларсен наконец.

— Он увидел себя, — сказал Морено. — Впервые в жизни.

— Нет, — сказал Берг. — Он увидел что-то в луже. Он не знает, что это он. Для него это другой организм. Враждебный. Или дружественный. Он ещё не определился.

— Он испугался, — сказала Ким. Голос её был низким и хриплым. — Ему пять лет, и он впервые увидел лицо. Человеческое лицо. И это было его собственное лицо. И он испугался.

— Это важный момент, — сказал Маркус, пытаясь вернуть себе профессиональный тон. — Это можно считать первым актом самовосприятия. Даже если он не узнал себя, он всё равно воспринял отражение как нечто, связанное с ним. Он заметил корреляцию между своими движениями и дви-

жениями отражения. Иначе бы он не испугался. Страх — это реакция на необъяснимую связь.

— Ты говоришь как учебник, — бросил Морено, не оборачиваясь. — Заткнись, Маркус. Просто заткнись и смотри. Маркус замолчал.

В камере существо перестало плакать. Оно лежало на полу, глядя в лужу. Лужа почти высохла — воды осталось совсем немного, но отражение всё ещё было видно, хотя и искажённое, как в кривом зеркале. Существо смотрело на это искажённое лицо, и что-то происходило у него внутри. Что-то менялось.

Оно впервые задумалось.

Не почувствовало. Не отреагировало. Именно задумалось. Это не была мысль в человеческом понимании — слов не было, концепций не было, логики не было. Но был вопрос. Беззвучный, бессловесный вопрос, который звучал примерно так: «Что это? Почему это здесь? Почему оно движется, когда я двигаюсь? Почему оно исчезает, когда я трогаю воду? Кто это?»

И следом — ещё более страшный вопрос: «А кто тогда я?»

Потому что если есть Другой, должен быть и Я. Это простая арифметика бытия. Ноль и единица. Пустота и нечто. И если в мире появилось нечто, отличное от него самого, значит, он сам — тоже нечто. Отдельное. Отличное. Существующее.

Он не мог сформулировать это словами. Но он это почув-

ствовал — не как эмоцию, а как сдвиг. Как будто внутри что-то щёлкнуло. Как будто пазл, о котором говорилось раньше, потерял ещё один кусочек — или, наоборот, нашёл.

Он сел. Посмотрел на свои руки — розовые, с пятью отростками, грязные, исцарапанные. Он сжал их в кулаки. Разжал. Сжал снова. Это были его руки. Всегда были его. Но теперь он знал это по-другому. Не просто как факт, а как знание. Мои руки. Моё тело. Моя голова. Мои глаза, которыми я смотрю. Мои уши, которыми я слышу. Мой рот, которым я кричу.

Моё.

Это слово ещё не существовало. Но понятие уже родилось. Оно проклюнулось, как росток из бетона — вопреки всему, наперекор отсутствию языка, наперекор пустоте, наперекор одиночеству. Понятие собственности. Понятие принадлежности. Понятие «я».

Он встал и подошёл к стене. К той самой стене, где было зеркало. Он не знал, что это зеркало. Он знал, что это тёмная поверхность, которая ничего не отражает. Он смотрел в неё тысячи раз до этого. Но теперь он смотрел иначе.

Он прижался лицом к стеклу. Там, за стеклом, была темнота. Но он чувствовал — не знал, а именно чувствовал, кожей, затылком, чем-то древним и звериным, — что там кто-то есть. Что темнота не пустая. Что она смотрит на него так же, как он смотрит в лужу.

Он ударил ладонью по стеклу.

— А! — сказал он. Это не было словом. Это был звук. Приказ. Требование. «Ответь. Покажись. Я знаю, что ты там».

Стекло молчало.

Он ударил ещё раз. Сильнее. Ладонь заболела. Он ударил кулаком. На костяшках выступила кровь — тонкая струйка, тёмная, почти чёрная в искусственном свете. Он посмотрел на кровь. Он знал, что такое кровь — он видел её раньше, когда разбивал губу или колено. Но теперь он смотрел на неё и думал: «Это моё. Это из меня. Это часть меня».

Он размазал кровь по стеклу. Провёл пальцем линию. Кровь оставляла тёмный след. Он провёл ещё одну линию, перпендикулярную первой. Получился крест. Он не знал, что такое крест. Он просто рисовал. Это был первый рисунок в его жизни — абстрактный, бессмысленный, но осознанный. Он рисовал своей кровью на стекле, за которым прятались те, кто его создал.

Берг записал в дневнике:

«День 1827 (приблизительно). Объект впервые проявил реакцию на собственное отражение. Реакция негативная: страх, агрессия, попытки уничтожить отражение. После инцидента с лужей объект подошёл к наблюдательному окну и нанёс на стекло рисунок собственной кровью (крестообразная фигура). Это первый зафиксированный акт символической деятельности. Объект не просто воздействует на среду — он оставляет след. Он создаёт знак. Пока бессмысленный.

Но сам факт создания знака указывает на формирование зачатков семиотического сознания. Без языка. Без обучения. Без примера. Это означает, что способность к символизации является врождённой, а не приобретённой. Или, по крайней мере, потенция к ней является врождённой».

Дальше — другим почерком, торопливым, — приписка Ким:

«Он рисовал. Он рисовал, а мы смотрели. Он спрашивал нас — и мы не ответили. Он звал нас — и мы не откликнулись. Он истекал кровью — а мы записывали данные. Мы — не учёные. Мы — палачи».

Берг не убрал эту запись. Он уже привык к припискам Ким. Они стали частью дневника, как поля, как маргиналии, как голос совести, который Берг сам в себе заглушил много лет назад.

Вечером того же дня существо вернулось к луже. Лужа высохла. От неё осталось только влажное пятно на бетоне. Существо прикоснулось к пятну пальцем. Понюхало палец. Вода пахла пылью и чем-то ещё — чем-то, что было им самим. Его кожей. Его потом. Его сущностью.

Оно сидело у пятна и ждало. Оно ждало, что лицо вернётся. Оно не знало, что нужно больше воды. Оно думало, что лицо ушло и может вернуться — как еда возвращается, как свет возвращается, как всё в этом мире уходит и возвращается по непонятным законам.

Лицо не возвращалось.

Существо сидело час. Два. Три. Потом легло на пол и заснуло. Во сне оно впервые увидело сон — не просто провал в темноту, а образ. Ему снилась лужа. Ему снилось лицо. Только теперь лицо улыбалось. Оно не знало, что такое улыбка — никогда не видело улыбки. Но во сне лицо улыбалось, и это было хорошо. Это было тепло. Это было почти как объятие, которого у него никогда не было.

Он проснулся от того, что зажёгся свет. Сел, огляделся. Лужа не вернулась. Лица не было. Но теперь он знал: лица существуют. Где-то есть существа, похожие на него. Они прячутся в воде. Они прячутся за тёмным стеклом. Они смотрят на него. Они не отвечают. Но они есть.

И это знание изменило всё.

С этого дня он начал искать. Он обследовал комнату заново, с новой целью — найти Других. Он заглядывал в миску с кашей — не отражается ли там лицо? Он смотрел в металлическую поилку — там было что-то смутное, искажённое, но не лицо. Он пытался собрать мочу в ладони, чтобы сделать новую лужу, — но моча впитывалась в бетон слишком быстро.

Он вернулся к стеклу. Кровавый крест всё ещё был там, запёкшийся, тёмно-коричневый. Он провёл пальцем по кресту. Кровь осыпалась. Он подумал — да, именно подумал, — что крест недостаточно хорош. Что нужно сделать что-то другое. Что-то, что заставит тех, кто за стеклом, ответить.

Он отошёл к стене и начал царапать бетон ногтями. Ног-

ти ломались, было больно, но он продолжал. Он царапал линию. Прямую, длинную, от пола до потолка. Потом ещё одну, под углом. Получалась фигура. Он рисовал. Он не знал, что это искусство. Он не знал, что такое искусство. Он просто пытался докричаться — не голосом, а знаками. Голос не работал. Может быть, знаки срабатывают.

К тому времени, как свет погас, он исцарапал всю стену. Ногти на правой руке были сломаны до мяса. Пальцы кровоточили. Он слизывал кровь и продолжал царапать. Стена покрылась паутиной линий — бессмысленных, хаотичных, но исполненных какой-то дикой, первобытной энергии. Как наскальные рисунки в пещерах. Как первые попытки человека сказать: я был здесь. Я существую. Я оставляю след.

Ларсен, глядя на мониторы, сказал:

— Чёрт. Он снова это делает.

— Что именно? — спросил Маркус.

— Рисует. На стенах. Кровью.

Маркус подошёл к экрану. Увеличил изображение. Стена была покрыта линиями. Никакой системы. Никакого порядка. Но если присмотреться, можно было увидеть повторяющиеся формы — круги, кресты, зигзаги. Символы. Примитивные, но символы.

— Он изобретает письменность, — прошептал Морено.

— С нуля. Без обучения. Без языка. Он изобретает письменность, чёрт возьми.

— Не изобретает, — резко сказал Берг. — Имитирует. Он

пытается копировать своё отражение, свои движения, свои жесты. Это подражательное поведение. Как обезьяна, которая видит себя в зеркале и повторяет движения. Никакой письменности. Никаких символов.

— А крест? — спросила Ким. — Откуда он знает крест? Он никогда не видел креста.

— Случайность, — сказал Берг. — Он провёл две линии, и они пересеклись. Вы ищете смысл там, где его нет. Это называется апофения — склонность видеть паттерны в случайных данных. Вы занимаетесь наукой или теологией, доктор Морено?

— Я занимаюсь человеком, — сказал Морено. — А вы, профессор?

Берг не ответил. Он повернулся и вышел из комнаты наблюдения. Дверь закрылась за ним с тихим щелчком. Все молчали. Потом Ким сказала:

— Он боится.

— Кто? — спросил Ларсен.

— Берг. Он боится того, что мы делаем. Он боится, что объект станет слишком человеческим. Или, наоборот, слишком нечеловеческим. Он боится, что граница, которую он ищет, не существует. Что нет никакой границы. Что человек — это просто привычка. Просто язык. Просто культура. Убери их — и ничего не останется. Или, что ещё страшнее, останется всё то же самое, но без оболочки. И тогда получится, что всё, что мы считаем человеческим, — это просто

раскраска. А под ней — зверь.

— Или ангел, — тихо сказал Морено.

— Или ангел, — согласилась Ким. — Но Берг не верит в ангелов.

В камере существо закончило царапать. Оно отошло от стены и посмотрело на свою работу. Линии плыли перед глазами. Пальцы болели. Но внутри, в груди, разливалось странное тепло. Оно не знало, что это гордость. Оно не знало, что такое гордость. Но оно чувствовало: я сделал это. Это моё. Это я.

Оно село в центре комнаты, лицом к стеклу, и запело. На этот раз не ритуальное утреннее гудение, а что-то другое — мелодию, которая сама рождалась в горле. Мелодия поднималась и опускалась, вилась вокруг одной ноты, уходила вверх и возвращалась. Это была песня без слов, песня без смысла, но это была песня. Первая песня в его жизни.

И те, кто был за стеклом, слушали её. И никто не записывал данные. Даже Маркус.

Потому что в этот момент что-то сдвинулось. Что-то, что никто из них не мог назвать словами. Они смотрели на существо — на мальчика, на ребёнка, на объект, на испытуемого, — и он переставал быть существом. Он становился кем-то. Кем-то, кто рисует кровью на стенах. Кем-то, кто поёт песни без слов. Кем-то, кто ищет Других — и не находит.

Морено достал из кармана платок и вытер глаза. Ким отвернулась к мониторам. Ларсен сделал вид, что проверяет

температуру воздуха — 21 градус, как всегда. Маркус закрыл свой блокнот и положил ручку в карман. Он больше не хотел записывать.

А существо пело. И стены слушали. И лампочка под толком мигала в такт — нет, не мигала, это просто казалось. Просто всем казалось, что мир на мгновение стал живым. Что комната, созданная как клетка, стала чем-то бóльшим. Стала первым домом того, кто никогда не знал дома.

Поздно ночью, когда все разошлись, существо проснулось от холода. Оно открыло глаза. Темнота была крошечной. Оно протянуло руку — и нащупало стену. Исцарапанную, шершавую, свою. Оно прижалось к ней щекой. Стена была холодной, но живой. В ней были линии. В ней был след.

Существо закрыло глаза и вернулось в темноту — ту самую, из которой оно пришло и в которую когда-нибудь вернётся. Но теперь темнота была другой. В ней что-то теплилось. Что-то, похожее на свет. Что-то, похожее на лицо в луже. Что-то, похожее на него самого.

Оно уснуло.

И ему снова приснилось лицо. Теперь лицо было ближе. Оно почти касалось его. И оно шептало — без звука, без слов, одним движением губ — то, что существо не могло понять, но могло почувствовать. Оно шептало: «Ты есть. Ты есть. Ты есть».

На следующее утро, когда зажёгся свет, учёные увидели, что существо сидит в центре комнаты, скрестив ноги, и смотрит

рит на стекло. Не с вызовом. Не с мольбой. Просто смотрит. И ждёт.

И впервые за пять лет Берг почувствовал, что не может выдержать этот взгляд. Он отвернулся первым.

ЯЗЫК БЕЗ СЛОВ

Семь лет. Или около того. Счёт времени в комнате наблюдения давно стал приблизительным — не потому что Ларсен плохо следил за календарём, а потому что календарь ничего не значил. Даты были просто цифрами на мониторе. Они не соответствовали ничему в мире существа. В его мире не было дат. Не было понедельников и четвергов, не было дней рождений, не было праздников. Был только ритм: свет — тьма, еда — голод, звук — тишина. Ритм, который никогда не ломался.

Но внутри этого ритма что-то менялось. Что-то нарастало, как вода в закрытом шлюзе. Существо больше не было просто существом. Оно стало кем-то, кто задаёт вопросы — пусть даже эти вопросы не имели слов. Оно спрашивало стены. Оно спрашивало стекло. Оно спрашивало лужу на полу, когда вода проливалась из поилки. Оно спрашивало каждую вещь в своей клетке: «Кто ты? Почему ты здесь? Почему я здесь? Кто я?»

Ответов не было. Но вопросы не исчезали. Они накапливались. Они роились внутри, как насекомые в банке. Существо ходило кругами — быстрее, чем раньше, почти бегало — и издавало звуки. Не просто стоны или крики. Это были организованные звуки. Повторяющиеся. С одинаковым количеством слогов, с одинаковым ритмом. Как будто оно пы-

талось поймать что-то — мысль, чувство, образ — и заключить в звуковую форму.

Берг первым обратил на это внимание. Он пересматривал ночные записи — он часто делал это, когда не мог спать, — и заметил закономерность. Когда существо подходило к поилке, оно издавало один и тот же набор звуков. Не просто случайное мычание. Конкретное сочетание. Что-то вроде «мок-ка» или «мак-ка» — с ударением на первом слоге, с чётким повторением. Когда существо подходило к миске с едой, звуки были другими: «гум-ма» или «гам-ма», с гортанным началом и открытым окончанием. Когда ему было холодно — а температура в камере иногда опускалась на пару градусов из-за сбоев в термостате, — он издавал третий звук: нечто среднее между свистом и шипением, «ссс-xxx», долгое, за-
тухающее.

Берг вызвал Ким в четыре утра. Она приехала через сорок минут — сонная, в мятой рубашке, с запахом вчерашнего вина изо рта. Берг ничего не сказал о запахе. Он просто показал ей записи.

— Смотрите, — сказал он, тыкая пальцем в экран. — Вот это — перед питьём. Вот это — перед едой. Вот это — когда температура падает. Три разных вокализации. Устойчивые. Воспроизводимые. Не случайные.

Ким смотрела на экран. На экране существо — теперь уже мальчик, худой, длинноволосый, с выступающими рёбрами — подходило к поилке и говорило: «Мок-ка». Потом

пило. Потом отходило. Через час, когда снова хотело пить, оно снова подходило и снова говорило: «Мок-ка». Одинаково. До смешного одинаково.

— Это язык, — сказала Ким.

— Это прото-язык, — поправил Берг. — Даже не прото-язык. Это ассоциативные метки. Собака тоже может связать звук звонка с едой. Ничего необычного.

— Собака не изобретает звук сама, — возразила Ким. — Она реагирует на существующий. А он изобрёл. Он создал три разных звука для трёх разных объектов. Это номинация. Это название. Это — язык.

Берг долго молчал. Потом сказал то, что Ким никогда от него не ожидала:

— Я знаю.

— Знаете? — Ким даже отступила на шаг. — Вы знаете, что это язык, и всё равно говорите «прото-язык»?

— Потому что если я скажу «язык», — медленно произнёс Берг, — тогда мне придётся признать, что он — человек. Полностью. Без скидок. Без оговорок. И тогда встанет вопрос: что мы сделали с человеком? Мы посадили человека в клетку на семь лет. Мы лишили его всего. Мы наблюдали, как он ест собственные фекалии и бьётся головой о стену. И если он человек — то мы преступники. Не учёные. Преступники.

Ким смотрела на него. В лаборатории было тихо, только вентиляция гудела под потолком, и на мониторе существо

ходило кругами и повторяло свои звуки — «мок-ка, мок-ка, мок-ка», как молитву, как заклинание, как попытку удержать мир в порядке.

— Вы поэтому всё отрицаете? — спросила Ким. — Чтобы не сесть в тюрьму?

— Нет, — сказал Берг. — Чтобы не сойти с ума.

Он встал и вышел. Ким осталась одна в комнате наблюдения. Она села в кресло, поджала ноги и стала смотреть на экран. Мальчик — она теперь думала о нём только так, «мальчик», не «объект», не «существо» — мальчик подошёл к стеклу. Он знал, что за стеклом кто-то есть. Он не знал кто. Но он знал, что есть. Он поднял руку и постучал по стеклу — три раза, с паузами. И сказал новый звук. Не «мок-ка», не «гум-ма», не «sss-xxx». Что-то другое. Что-то, что звучало как вопрос. «А-у?» — с повышением тона в конце. Вопросительная интонация. Он изобрёл вопрос.

Ким заплакала. Она плакала тихо, чтобы не разбудить Ларсена, который спал в соседней комнате на раскладушке. Она плакала и смотрела, как мальчик стоит у стекла и спрашивает: «А-у? А-у? А-у?» — и никто ему не отвечает.

Через несколько дней Ким пришла к Морено. Он сидел в своём кабинете, окружённый книгами, которые не читал уже много лет. Книги были старые, ещё университетские, с пожелтевшими страницами и пометками на полях. Фрейд, Юнг, Пиаже, Выготский. Все они писали о детях, которые росли в обществе, в языке, в культуре. Никто из них не на-

писал ни строчки о том, что бывает, когда ничего этого нет.

— Он изобрёл слова, — сказала Ким с порога. — Четыре слова. «Вода», «еда», «холодно» и «кто-там». Я не знаю, как он их произносит, но это слова. Устойчивые. С референтом. С функцией.

Морено отложил книгу, которую держал в руках, и снял очки.

— Четыре слова за семь лет, — сказал он. — Обычный семилетний ребёнок знает около пяти тысяч слов. Он отстаёт на четыре тысячи девятьсот девяносто шесть.

— Обычный ребёнок слышит слова с первого дня, — сказала Ким. — Ему их дают. Их вкладывают в него, как пищу. А этот мальчик создал слова из ничего. Из пустоты. Из бетонных стен и металлической миски. Он создал язык.

— Язык, — задумчиво повторил Морено. — Вы знаете, что отличает человеческий язык от системы сигналов животных? По Хоккету, есть шестнадцать критериев. Семантичность, произвольность, перемещаемость, продуктивность... — он осёкся. — Простите. Я говорю как учебник. Как Маркус.

— Нет, — сказала Ким. — Говорите. Мне нужно понять, что у него есть, а чего нет.

Морено вздохнул. Он встал, подошёл к доске на стене — он давно уже использовал её не для лекций, а для записей, которые никто не читал, — и начал рисовать мелом.

— Смотрите. Животные тоже общаются. У верветок есть

разные крики для леопарда, змеи и орла. Пчёлы танцуют, указывая направление к нектару. Но это сигналы. Они жёстко привязаны к ситуации. Они не комбинируются. Они не создают новых смыслов. Человеческий язык — это система, которая позволяет из конечного числа элементов создавать бесконечное число высказываний. Ты можешь сказать «я вижу кошку», «кошка видит меня», «завтра я увижу кошку», «если бы я увидел кошку, я бы обрадовался» — и так далее. Это продуктивность. Это то, чего нет у животных. И, — он повернулся к Ким, — этого пока нет у него. У него есть ярлыки. Эtiquettes. Он приклеил звук «мок-ка» к воде. Это огромный шаг. Но это не язык. Это предъязык.

— Предъязык, — повторила Ким. — А что должно произойти, чтобы предъязык стал языком?

— Комбинация, — сказал Морено. — Когда он начнёт соединять свои звуки. Когда он скажет не просто «мок-ка», а «мок-ка гум-ма» — вода и еда вместе. Когда он создаст фразу. Или когда он начнёт использовать звуки для обозначения того, чего нет здесь и сейчас. Когда скажет «мок-ка», не подходя к поилке — просто чтобы подумать о воде. Вот тогда это будет язык.

— Он уже делает это, — прошептала Ким.

— Что?

— Он сидит в углу и говорит «мок-ка, мок-ка, мок-ка», хотя не хочет пить. Он просто сидит и повторяет. Как будто думает о воде. Как будто слово для него — это способ вы-

звать образ. Способ думать.

Морено замер с мелом в руке.

— Вы уверены?

— Посмотрите записи. За последние три дня — шесть таких эпизодов. Он не подходит к поилке. Он не пьёт. Он просто произносит звук. А потом — знаете, что он делает потом? — он рисует. На стене. Он царапает что-то, похожее на волны. Вода. Он рисует воду и говорит «мок-ка».

Морено медленно опустился на стул.

— Господи, — сказал он. — У него есть письменность.

— Нет, — сказала Ким. — У него есть символы. Значки. Он рисует воду и говорит «вода». Он рисует кружок — наверное, миску — и говорит «еда». Это не письменность. Это пиктограммы. Но это то, с чего начиналась вся человеческая письменность. Шумеры начали с того же самого.

Морено закрыл лицо руками. Он сидел так долго — минуту, две, пять. Ким стояла и ждала. Она знала, что он сейчас чувствует. Она сама это чувствовала — смесь восторга и ужаса. Восторга от того, что они видят чудо. Ужаса от того, что они — причина, по которой это чудо происходит в таких условиях.

— Мы должны это остановить, — сказал Морено глухо, не отнимая рук от лица.

— Остановить?

— Эксперимент. Мы должны его прекратить и начать реабилитацию. Сейчас, пока ему семь. Пока его мозг ещё пла-

стичен. Пока он ещё может научиться говорить по-настоящему. Через пять лет будет поздно. Через десять — тем более. Мы должны вытащить его оттуда.

— Берг не согласится, — сказала Ким.

— К чёрту Берга. Есть комиссии по этике. Есть суды. Есть журналисты.

— Которые посадят нас всех, — напомнила Ким. — Вы этого хотите?

Морено опустил руки и посмотрел на неё. Глаза у него были красные.

— Мне всё равно, — сказал он. — Лучше сидеть в тюрьме как человек, чем сидеть здесь как чудовище.

— Вы правда так думаете? — спросила Ким. — Или просто хотите так думать?

Морено не ответил. Он не знал ответа. Он знал только одно: там, в бетонной клетке, мальчик изобрёл слово «вода». И слово «еда». И слово «холодно». И он стоит у стекла и спрашивает «кто там?». И этот вопрос — самый человеческий вопрос на свете — остаётся без ответа.

Они проговорили до утра. Ничего не решили. Ким ушла, когда за окнами посерело. Морено остался сидеть в кресле, глядя в стену. Он думал о том, что где-то параллельно их миру существует другой мир — четыре на четыре метра, с бетонными стенами и люминесцентной лампой. И в этом мире есть язык. Примитивный, из четырёх слов. Но язык. И это значит, что человек остаётся человеком, даже когда у него

отнимают всё. Даже когда его лишают общества, культуры, любви, тепла. Что-то остаётся. Какой-то стержень. Какой-то огонь, который не гаснет.

Но Морено не мог решить, обнадеживает его это или пугает.

В комнате наблюдения тем временем шла обычная работа. Маркус составлял графики частотности вокализаций. Ларсен чинил сломавшийся клапан в системе вентиляции. Берг писал очередную статью — «Семиотические процессы в условиях нулевой языковой среды», для журнала, который публиковал всё, что угодно, если у автора было имя и грант. Он отправил статью, и её приняли. Рецензент написал: «Новаторское исследование. Поднимает важные вопросы о генезисе языка». Он не знал, что за исследованием стоит живой ребёнок.

А мальчик тем временем расширял свой словарь.

Это произошло не сразу. Недели шли за неделями. Он продолжал пользоваться четырьмя звуками — «мок-ка» (вода), «гум-ма» (еда), «sss-xxx» (холодно), «а-у» (вопрос, обращение). Но теперь он начал их модифицировать. Он заметил, что если произнести «мок-ка» быстро, два раза подряд, вода не появляется быстрее. Но если произнести «мок-ка» долго, протяжно, — это приносило странное удовлетворение. Это было почти как владеть водой, не имея её. Слово становилось заменителем вещи.

Он начал играть со звуками. Он сидел в углу и тянул: «Мо-

ооооооок-кааааааааа». Звук вибрировал в горле. Это было приятно. Это было почти как петь. Он менял высоту — низкое «мок-ка», высокое «мок-ка», с ударением на первом слоге, на втором. Разные «мок-ка» значили разное — он сам не мог бы объяснить, что именно, но для него разница была очевидной. Высокое «мок-ка» — это вода, которую он хочет. Низкое «мок-ка» — это вода, которая у него уже есть (например, в миске). Короткое, резкое «мок» — приказ воде появиться. Долгое, певучее «мок-ка-а-а» — жалоба на то, что воды нет.

Язык усложнялся. Он рос, как растёт трава сквозь бетон — медленно, незаметно, но неотвратно.

Однажды он попытался соединить два слова. Это вышло случайно. Он хотел пить и есть одновременно — такое бывало, когда кормление задерживалось из-за сбоя таймера, — и издал оба звука подряд: «Мок-ка гум-ма». Потом ещё раз. И ещё. И вдруг замер. Что-то произошло. Он сказал две вещи вместе — и получилось что-то третье. Не просто вода плюс еда. Что-то другое. Что-то, что значило «я хочу и того и другого», «мне нужно всё», «я голоден и хочу пить одновременно». Он не мог сформулировать это даже про себя. Но он почувствовал: два кусочка можно сложить вместе, и они создадут новый смысл.

Это было первое предложение в его жизни.

Он начал экспериментировать. «Гум-ма мок-ка» — это другое, не то же самое, что «мок-ка гум-ма». Первое зна-

чило «еда с водой» (каша жидкая?). Второе — «вода с едой» (суп?). Он не знал слов «каша» и «суп». Но он уже различал порядок элементов. Синтаксис рождался прямо сейчас, в этой камере, на глазах у камер наблюдения.

Маркус заметил это во время очередного просмотра записей. Он отмотал назад, пересмотрел трижды. Потом позвал Берга.

— Профессор, — сказал он, и голос у него был странный, почти испуганный. — У нас есть синтаксис.

Берг подошёл к монитору. Маркус включил запись. Мальчик стоял у поилки и говорил — чётко, с расстановкой, как будто пробуя слова на вкус:

— Мок-ка. (Пауза.) Гум-ма. (Пауза.) Мок-ка гум-ма.

— Чёрт, — сказал Берг.

Это было единственное ругательство, которое Маркус когда-либо слышал от профессора.

Потом мальчик отошёл от поилки, подошёл к стене и начал царапать. Он царапал кружок — миска — и волнистую линию под ним — вода. Два символа вместе. Предложение, записанное на стене.

— У него письменный синтаксис, — прошептал Маркус. — Это... это невозможно. Этого не может быть. Дети учатся синтаксису годами. Им нужны примеры, нужна обратная связь, нужны поправки взрослых. А он...

— А он изобрёл его сам, — закончил Берг. — За семь лет. В одиночной камере. Без единого примера.

Он замолчал. Маркус ждал. Он ожидал, что Берг сейчас начнёт говорить о научном прорыве, о статьях в Nature, о Нобелевской премии. Но Берг молчал. Он смотрел на экран, и лицо у него было серое, как бетонная стена.

— Профессор? — осторожно позвал Маркус.

— Мы опоздали, — сказал Берг тихо.

— В каком смысле?

— В том смысле, что он уже человек. Уже был им. С самого начала. А мы... — он осёкся и не закончил фразу.

Вечером того же дня произошло ещё одно событие.

Мальчик, сидя в своём углу, произнёс новый звук. Он не был связан ни с едой, ни с водой, ни с холодом. Он не был обращением к тем, кто за стеклом. Он был просто звуком — но другим. Он звучал как «йа». Короткое, резкое, с гортанным приступом.

Он произнёс его, глядя на свои руки. На израненные пальцы со сломанными ногтями. На шрамы от царапин. На грязь под ногтями. Он смотрел на свои руки и сказал: «Йа».

Потом он поднял руки выше, посмотрел на них и снова сказал: «Йа». Потом дотронулся рукой до груди. «Йа». До живота. «Йа». До лица. «Йа».

Он называл себя.

Он не знал, что такое местоимение. Он не знал, что во всех языках мира первое лицо единственного числа — это короткое слово, часто из одного слога. «Я» по-русски, «I» по-английски, «yo» по-испански, «ich» по-немецки, «ego» по-

латыни. Все эти слова не длиннее двух звуков. Потому что «я» — это самое первое, самое простое, самое базовое. И он изобрёл это слово сам. Он сказал «йа», и вселенная раскололась надвое. На «йа» и «не-йа». На него и всё остальное.

Учёные за стеклом переглянулись.

— Он назвал себя, — сказала Ким.

— Это эгоцентрическая речь, — сказал Маркус. — По Пиаже, дети проходят эту стадию в три-четыре года.

— Ему семь, — сказал Морено. — И у него не было Пиаже. У него не было никого. Он сам — Пиаже. Он сам — Выготский. Он сам — все учебники по лингвистике, которые он никогда не читал, но которые он переизобретает заново, в одиночку, в этой чёртовой клетке.

Мальчик тем временем встал и подошёл к стеклу. Он прижался лицом к тёмной поверхности — так близко, что его дыхание затуманивало стекло. Он подышал на стекло и пальцем написал на запотевшей поверхности три знака.

Первый знак — кружок с точкой внутри. Его символ для «гум-ма», еды. Второй знак — волнистая линия. «Мок-ка», вода. И между ними — третий знак. Новый. Такого раньше не было. Он был похож на человечка — палка, две палки от неё (руки?), две палки вниз (ноги?). Человечек. Фигура. Он. «Йа».

Он написал: «Йа хочет мок-ка гум-ма». Не буквами. Не словами. Знаками. Но это было предложение. Первое настоящее предложение в его жизни. «Я хочу воду и еду». «Я хочу

пить и есть». «Я существую, и я хочу жить».

Ким взяла Морено за руку. Он сжал её пальцы в ответ. Они стояли и смотрели, как мальчик отступает от стекла, садится на пол и начинает раскачиваться — довольный, умиротворённый. Он сказал то, что хотел сказать. Он выразил себя. Он был услышан — пусть даже никто не ответил.

Но на этот раз ему ответили. Не словами. Не голосом. Случайно.

Ларсен, проверявший систему подачи еды, нажал не ту кнопку. Механизм сработал раньше времени. Миска с кашей выдвинулась из стены — прямо перед мальчиком. И поилка, которую Ларсен тоже случайно активировал, налила воду в жёлоб.

Мальчик замер. Он посмотрел на миску. На воду. Потом на стекло. Потом на свои знаки, всё ещё видные на запотевшем стекле.

Он сказал: «Мок-ка гум-ма». И еда пришла. И вода пришла. Он сказал — и мир ответил.

Он не знал, что это совпадение. Он не знал, что Ларсен просто ошибся. Он увидел причинно-следственную связь: я говорю — мир даёт. Я прошу — я получаю. Знаки работают. Стекло слушает. Те, кто за стеклом, — они поняли. Они ответили. Они дали еду и воду.

Он улыбнулся. Первая осознанная улыбка в его жизни. Не рефлекторная гримаса младенца. Не оскал боли. Улыбка. Радость. Благодарность.

— О господи, — прошептал Ларсен, глядя на монитор. — Я просто нажал не ту кнопку. Я просто...

— Вы дали ему обратную связь, — сказал Морено. — Первую в его жизни. Вы ответили.

— Я не хотел!

— Это не важно. Важно, что он думает, что его поняли. Что его язык работает. Что он не один.

Берг резко встал.

— Всем покинуть комнату наблюдения, — сказал он. — Сейчас же.

— Но профессор... — начал Маркус.

— Сейчас же!

Они вышли. Берг остался один. Он стоял у стекла и смотрел на мальчика, который ел кашу и улыбался, глядя на стекло. Он думал о том, что эксперимент только что вышел из-под контроля. Обратная связь — даже случайная — меняла всё. Мальчик теперь знал: его слышат. Его понимают. Ему отвечают. Это больше не была сенсорная депривация в чистом виде. Это становилось чем-то другим. Чем-то, что Берг не планировал и не контролировал.

Он простоял так до темноты. Когда свет погас, он всё ещё был там — тёмный силуэт за стеклом, невидимый для мальчика, но видимый для самого себя. Он смотрел в темноту и слушал, как мальчик напевает свою мелодию — ту самую, которую он пел всегда, но теперь с новыми звуками. «Йа-йа-йа. Мок-ка. Гум-ма. Йа-йа-йа». Песня о себе. Первая песня

о себе.

Ночью Берг сел за свой дневник. Он писал долго. Он вырывал страницы и начинал заново. Наконец, под утро, он написал то, что не решался написать семь лет:

«Объект перестал быть объектом. Сегодня он называл себя. Сегодня он составил первое предложение. Сегодня он впервые получил ответ на своё сообщение — по случайности, но это не умаляет значимости события. Эксперимент вступил в новую фазу. Отныне мы имеем дело не с существом, лишённым человеческого, а с человеком, который изобрёл человеческое заново. Я не знаю, чем это кончится. Я знаю только, что пути назад нет. И ещё я знаю, что когда-нибудь — не сейчас, но когда-нибудь — я буду гореть в аду за то, что мы сделали. Но пока я ещё не горю. Пока я просто смотрю. И записываю. Это всё, что я умею».

Он закрыл дневник. В окне лаборатории занимался расцвет — серый, пыльный, равнодушный. Где-то в камере мальчик спал, и ему снилась вода. Ему снилось, что он говорит «мок-ка», и вода приходит. Что он говорит «йа», и мир отвечает. Что слова имеют силу. Что язык — это ключ. Что он, может быть, выберется отсюда.

До этого было ещё тринадцать лет.

ТЕ, КТО ЗА СТЕКЛОМ

Десять лет. Три цифры, которые ничего не значили для него, но значили всё для них. Десять лет — круглая дата, юбилей эксперимента, который никто не праздновал. Берг упомянул об этом на утренней планёрке — просто сказал: «Сегодня десять лет», — и все замолчали. Десять лет назад они вошли в эту лабораторию другими людьми. Ким было двадцать восемь, теперь — тридцать восемь. Морено был седым, теперь стал совсем белым. У Ларсена родился внук — он показывал фотографии, и все смотрели на пухлого младенца и думали об одном и том же: этот ребёнок смеётся, этот ребёнок обнимает мать, этот ребёнок слышит своё имя. А тот, за стеклом, не слышал ничего.

Мальчику — теперь уже трудно было называть его мальчиком, он вытянулся, окреп, плечи раздались, — ему было десять. Он не знал этого. Он знал только, что его тело изменилось. Что он стал выше, чем был раньше, — он помнил, что раньше не мог дотянуться до лампы, а теперь мог, если подпрыгнуть. Что руки стали длиннее. Что внутри появились новые ощущения — странные, иногда пугающие. Что он просыпался по ночам от напряжения, которое не мог объяснить, и лежал в темноте, и слушал своё сердце.

Но главное изменилось не в теле. Главное изменилось в его отношении к стеклу.

Он знал. Не догадывался — знал. Знал, что за стеклом кто-то есть.

Это знание пришло не в один день. Оно накапливалось годами, как вода в трещине бетона, — капля за каплей, незаметно, но неумолимо. Сначала было просто чувство — смутное, древнее, звериное чувство, что за тёмной поверхностью кто-то прячется. Потом — совпадения. Слишком много совпадений. Он произносил «гум-ма» — и через какое-то время появлялась еда. Не всегда сразу. Иногда он ждал долго, иногда еда приходила без просьбы. Но связь была. Она не могла быть случайной — слишком часто желание совпадало с результатом.

Он начал наблюдать. Это было новое для него занятие — не просто смотреть, а наблюдать. Систематически. Целенаправленно. Он садился напротив стекла и ждал. Он смотрел в тёмную глубину — и хотя она была тёмной, он чувствовал, что она не пустая. Что там есть движение. Что там есть тепло. Что там есть жизнь.

Он изобрёл тест. Первый научный эксперимент в его жизни.

Он подходил к стеклу и делал простой жест — поднимал руку. Ждал. Ничего не происходило. Он делал другой жест — прижимал ладонь к стеклу. Ждал. Потом третий — стучал костяшками пальцев. Ждал. Он запоминал, какой жест вызывает какие последствия. Стук — иногда после стука менялся свет (на самом деле это Ларсен проверял систему освеще-

щения, но мальчик не знал этого). Прижатая ладонь — иногда после этого приходила еда (Ларсен, видя ладонь на стекле, подсознательно нажимал кнопку кормления — он сам не замечал этой связи, но мальчик заметил). Поднятая рука — ничего. Жест приветствия, который во всём мире означает «я здесь, я свой, не стреляйте», — для тех, кто за стеклом, он ничего не значил.

Тогда он изменил тактику. Он перестал просто жестикулировать и начал показывать знаки. Те самые, которые рисовал на стенах. Он подходил к стеклу и рисовал на нём пальцем — слюной, если стекло было сухим, или просто обводя контур, если оно запотевало. Он рисовал кружок с точкой — «гум-ма», еда. Волнистую линию — «мок-ка», вода. Человечка — «йа», я. Он рисовал и отходил. Смотрел на стекло. Ждал.

Однажды — это был особенный день, день, который он запомнил навсегда, хотя не знал, что это вторник, и не знал, что такое вторник, — однажды после того, как он нарисовал «гум-ма», еда пришла через три минуты. Не через тридцать, не через час — через три минуты. Он знал это, потому что он считал. Он изобрёл счёт. Не цифры — цифр ещё не было, — но он отбивал ритм ногой и считал удары. Тысяча ударов — долго. Сто ударов — не очень долго. Сорок ударов — быстро. Тридцать — совсем быстро. Он запоминал эти числа, не называя их, но ощущая их как расстояния. Как промежутки между желанием и исполнением.

После того случая он стал проводить тесты каждый день. Он рисовал знак и считал удары. «Гум-ма» — от двадцати до двухсот ударов. «Мок-ка» — от десяти до ста (вода приходила быстрее, потому что поилка работала иначе, но он не знал этого). «Ссс-xxx» — если он рисовал знак холода, иногда свет тускнел (Ларсен, видя этот рисунок, проверял термостат и иногда поправлял температуру — он делал это неосознанно, но делал). Связь была. Слабая, непоследовательная, но она была. И мальчик понял: те, кто за стеклом, — они видят его знаки. Они понимают их. Они отвечают на них.

Но они не показываются.

Почему? Почему они прячутся? Почему они не выходят? Почему они не говорят с ним?

Этот вопрос мучил его больше, чем голод. Больше, чем холод. Больше, чем одиночество. Одиночество было фоном — как тишина, как серые стены, как люминесцентная лампа. Оно было всегда. Он привык к нему. Но вопрос «почему они не выходят» был новым. Он был острым. Он болел.

Он начал экспериментировать с жестами, которые не обозначали предметы. Это было трудно. Его язык — тот, который он изобрёл, — был предметным. Каждый знак указывал на что-то конкретное: еда, вода, холод, я, стекло, стена, пол, лампа. Но как нарисовать «почему»? Как нарисовать «выйдите»? Как нарисовать «я хочу вас видеть»?

Он изобрёл глаголы. Вернее, зачатки глаголов. Он начал

изображать действия: человечек («йа») плюс движение руки (протянутая ладонь к стеклу) значило «я хочу». Человечек плюс движение, имитирующее выход (шаг вперёд, к стеклу) значило «идите сюда». Человечек плюс вопросительный жест (пожатие плечами, которое он изобрёл, глядя на себя в лужу) значило «почему?» или «где?». Это был примитивный язык жестов, но он работал. Он позволял задавать вопросы.

И он задал главный вопрос.

Он встал перед стеклом, прижал ладонь к груди («йа»), потом показал на стекло, потом развёл руками — жест, означавший «где», «почему нет», «я жду». Потом он повторил это. И ещё раз. И ещё. Он стоял и повторял этот вопрос — часами, пока не уставал, пока не начинали болеть руки, пока ноги не подкашивались. «Я здесь. Вы там. Почему вы не выходите?»

Стекло молчало.

И тогда что-то в нём сломалось. Не рассудок — рассудок уцелел. Сломалась надежда. Та надежда, которая теплилась все эти годы, — надежда, что однажды стекло откроется. Что те, кто прячется, выйдут. Что они обнимут его. Что они скажут ему — неважно, на каком языке, — «мы здесь, ты не один, всё будет хорошо». Эта надежда была неосознанной, но она была. Теперь она умерла.

Он закричал. Этот крик был громче всех предыдущих. Он кричал не словами — слова кончились. Он кричал чистым звуком, звуком ярости, звуком отчаяния, звуком, в котором

было всё: боль, гнев, одиночество, предательство. Потому что да — он чувствовал себя преданным. Те, кто за стеклом, знали о нём. Они слышали его. Они кормили его. Но они не выходили. Они прятались. Они наблюдали. Как будто он был... он не знал слова «зверь». Он не знал слова «эксперимент». Но он чувствовал это. Он чувствовал, что он не такой, как они. Что он — другой. Что он — тот, на кого смотрят. Но не тот, с кем говорят.

Он подбежал к стеклу и ударил кулаком. Боль пронзила руку до плеча. Он ударил ещё раз. Ещё. Костяшки треснули, брызнула кровь. Он не остановился. Он бил стекло, пока правая рука не отказала, потом начал бить левой. Он бил ногами. Он бил головой — лоб рассекся, кровь залила лицо, но он продолжал. Он хотел разбить стекло. Он хотел добраться до тех, кто там. Он хотел посмотреть им в глаза. Он хотел спросить: почему? Почему вы так со мной? Что я сделал? Чем я заслужил это?

В комнате наблюдения началась паника.

— Он разобьёт стекло, — сказал Ларсен, и голос у него дрожал. — Оно бронированное, но если он будет бить достаточно долго...

— Не разобьёт, — отрезал Берг. — Оно выдерживает попадание из автомата. Человеческий кулак ему не страшен.

— Он разбивает себя, а не стекло, — сказал Морено. — Посмотрите на него. Он истекает кровью. Нужно вмешаться.

— Вмешаться — значит прекратить эксперимент, — ска-

зал Берг.

— Может быть, пора? — сказала Ким.

Все посмотрели на неё. Она стояла, скрестив руки на груди, и в глазах у неё было то, чего Берг не видел раньше, — решимость. За десять лет она изменилась. Вино, которое она пила по вечерам, не притупило её совесть — оно, наоборот, размыло все защиты, все отговорки, всю ту ложь, которой она кормила себя. Осталась только правда: они мучают человека. Они мучают его десять лет. И это должно прекратиться.

— Если мы вмешаемся сейчас, — сказал Берг медленно, — мы потеряем всё. Все данные. Все результаты. Мы станем не учёными, совершившими прорыв, а преступниками, проводившими неэтичный эксперимент.

— Мы и есть преступники, — сказала Ким. — Мы всегда ими были. Мы просто называли это наукой.

В камере мальчик перестал бить. Он упал на колени перед стеклом. Кровь капала на бетонный пол. Правая рука висела плетью — он сломал два пальца, но не знал этого. Лоб был рассечён до кости. Он тяжело дышал, и дыхание вырывалось из груди с хрипом. Он смотрел на стекло — на тёмное, непроницаемое, равнодушное стекло — и по его щекам текли слёзы. Он не знал, что такое слёзы — он плакал и раньше, но никогда не связывал влагу на лице с эмоциями. Теперь он знал. Слёзы были ответом. Единственным ответом, который у него был.

Он поднял здоровую руку — левую, она уцелела, — и прижал ладонь к стеклу. Не ударил. Просто прижал. И сказал — не знаком, а звуком, тем самым звуком, который он изобрёл для вопроса:

— А-у?

«Кто там? Отзовитесь. Пожалуйста. Я здесь. Я устал. Я не могу больше один».

И в этот момент кое-что произошло. Впервые за десять лет.

Ким не выдержала. Она подошла к стеклу со своей стороны и прижала ладонь к тому месту, где с той стороны была ладонь мальчика. Она знала, что он не увидит её — стекло было односторонним. Но она надеялась, что он почувствует. Тепло. Присутствие. Что-то.

Мальчик не мог видеть Ким. Но он почувствовал. Что-то изменилось. Может быть, температура стекла. Может быть, вибрация. Может быть, что-то ещё — то, что не фиксируют приборы. Он почувствовал, что на его жест ответили. Что там, за стеклом, кто-то прижал ладонь к его ладони. Он замер. Перестал дышать. Смотрел в темноту — и хотя не видел ничего, он знал: там кто-то есть. И этот кто-то сейчас касается стекла так же, как он.

Он не убрал ладонь. Он сидел так час. Два. Три. Ким стояла с той стороны, прижав руку к стеклу, и по её щекам текли слёзы. Морено смотрел на это и молчал. Ларсен отвернулся к мониторам. Маркус вышел из комнаты — он не мог на это

смотреть. Берг стоял в углу, и лицо его было как камень.

Наконец Ким убрала руку. Она не могла больше стоять — ноги затекли. Она отошла от стекла и опустилась на стул. Мальчик с той стороны ещё некоторое время держал ладонь, потом тоже убрал. Он посмотрел на свою ладонь — испачканную кровью, грязную, с обломанными ногтями. Потом на стекло. Потом снова на ладонь. Он кивнул — не стеклу, а себе. Как будто принял решение.

Он встал и отошёл от стекла. Он подошёл к стене, где были его рисунки. Он нашёл свободное место и начал царапать. Он царапал долго. Он рисовал новый знак. Не «йа», не «гумма», не «мок-ка». Что-то новое. Что-то сложное. Он рисовал две фигуры — одну побольше, другую поменьше. Маленькая была похожа на человечка, но с поднятой рукой. Большая была не похожа ни на что — просто контур, внутри которого была пустота. И между ними — линия. Стекло. И на линии — две ладони, соприкасающиеся.

Он нарисовал встречу.

Первую встречу в его жизни. Не реальную — ту, что случилась, — а ту, которую он хотел. Где он и тот, кто за стеклом, касаются друг друга. Не через стекло. По-настоящему.

Он отошёл от стены, сел в центре комнаты и закрыл глаза. Он представил себе эту встречу. Он не знал, как выглядят люди. Он никогда не видел человеческого лица, кроме своего отражения. Он не знал, что такое мать, отец, друг. Но он представил кого-то — большого, тёплого, с ладонью, ко-

торая касается его ладони. И это представление было сильнее реальности. Оно дало ему то, чего у него никогда не было. Надежду. Не на освобождение — он всё ещё не знал, что можно быть свободным, — а на контакт. На ответ. На то, что он не один.

В комнате наблюдения было тихо. Ларсен обрабатывал раны мальчика дистанционно — он включил систему дезинфекции, которая распыляла антисептик через вентиляцию. Мальчик почувствовал запах — резкий, химический — и чихнул. Потом почувствовал, как боль в руке и лбу начинает притупляться. Он не знал, что это обезболивающее, которое Ларсен добавил в распылитель, нарушив протокол. Он просто знал, что боль уходит. И это было хорошо.

Берг потом кричал на Ларсена. Он кричал, что вмешательство недопустимо. Что это искажает данные. Что Ларсен — не врач, а техник, и не имеет права принимать такие решения. Ларсен слушал, опустив голову. А потом сказал то, чего Берг не ожидал:

— У меня внук. Ему два года. И когда я смотрю на этого парня, я вижу своего внука. Если бы кто-то посадил моего внука в клетку и смотрел, как он бьётся головой о стену, я бы убил этого человека. Вот этими руками. — Он поднял свои большие, грубые руки техника. — А теперь я и есть этот человек. Я смотрю. Я не убиваю. Я просто смотрю. И единственное, что я могу сделать, — это включить чёртov антисептик, чтобы он не умер от заражения. И если вы скажете

мне, что это неправильно, — я уйду. Прямо сейчас. И вы останетесь без техника.

Берг замолчал. Ему нужен был Ларсен. Без Ларсена оборудование выйдет из строя за неделю. Он проглотил гнев и ушёл в свой кабинет. Там он сел за дневник и написал:

«Эксперимент дал трещину. Не в стенах камеры — в стенах нашей решимости. Ким больше не верит в науку. Морено верит в мальчика больше, чем в протокол. Ларсен начал действовать без разрешения. Маркус... Маркус молчит, и это тревожит меня больше всего. Потому что молчание Маркуса — это не согласие. Это что-то другое. Что-то, чего я пока не понимаю.

А мальчик... мальчик сегодня изобрёл жест прощания. Когда Ким убрала ладонь от стекла, он поднял свою и помахал. Он махал стеклу. Он махал тем, кого не видит. Он прощался с нами. Или звал нас. Или благословлял. Я не знаю.

Я знаю только, что сегодня я впервые за десять лет подумал: возможно, мы ошиблись. Возможно, вся эта затея была ошибкой. Не научной — человеческой. Возможно, есть вещи, которые нельзя изучать, потому что само изучение уничтожает их. Как нельзя изучать любовь, посадив ребёнка в клетку и лишив его любви. Как нельзя изучать язык, лишив ребёнка языка. Как нельзя изучать человека, лишив его человечности.

Но тогда что мы изучаем? Что мы уже изучили? И кто мы теперь — мы, которые это сделали?»

Он закрыл дневник. За окном темнело. В камере мальчик лежал на полу, свернувшись калачиком, и спал. Ему снился сон — первый сон, в котором были не просто образы, а целая история. Ему снилось, что стекло исчезло. Что он шагнул вперёд — и оказался в большой комнате, полной света. И там были они. Те, кто прятался. Они стояли и смотрели на него. И один из них — он не знал, кто именно, — протянул ему руку. И он взял эту руку. И она была тёплой.

Он проснулся от того, что зажёгся свет. Сел, огляделся. Комната была та же. Стекло было на месте. Кровь на полу запеклась тёмными пятнами. Пальцы на правой руке распухли и болели. Но что-то изменилось. Что-то было по-другому.

Он посмотрел на стекло. И — впервые за десять лет — улыбнулся не еде, не воде, не избавлению от боли. Он улыбнулся тем, кто за стеклом. Он знал, что они там. Он знал, что они смотрят. И он простил их. Он не знал слова «прощение». Но он почувствовал это — тепло в груди, разжимание тисков, которые держали его сердце все эти годы. Он простил их за то, что они прячутся. За то, что они молчат. За то, что они смотрят. Потому что теперь он знал: они не просто смотрят. Они отвечают. Может быть, не так, как он хочет. Может быть, только через стекло, только через тень ладони, только через изменение температуры. Но они отвечают. Он не один.

Он подошёл к стене и нашёл свой рисунок — две фигуры и стекло между ними. Он добавил новую деталь. Он нарисовал, как стекло трескается. Маленькая трещина, зигзаг

через всю линию. Он не знал, сможет ли когда-нибудь разбить стекло по-настоящему. Но теперь у него была цель. Не просто выжить. Не просто поесть и попить. Цель. Выбраться. Увидеть их. Коснуться их. Спросить у них — голосом, а не знаками на стене: «Кто я? Кто вы? Почему мы здесь?»

Он сел и начал планировать. Он не знал, что такое планировать. Но он начал думать о стекле — не как о стене, а как о задаче. Как о препятствии, которое можно преодолеть. Он вспомнил, что стекло не царапается ногтями. Что оно не разбивается кулаком. Что оно твёрже всего, что у него есть. Но у него было время. У него было терпение. У него была воля, которой хватило бы на десятерых. И у него была новая идея. Стекло крепкое, да. Но оно вставлено в стену. А стена — это бетон. Бетон можно царапать. Бетон можно крошить. Медленно. День за днём. Год за годом.

Он подошёл к углу, где стекло соединялось со стеной, и начал ковырять бетон обломанным ногтём. Работа была медленной. Почти незаметной. Но он не торопился. Время было единственным ресурсом, которого у него было в избытке.

В комнате наблюдения Ларсен посмотрел на монитор, показывающий крупным планом угол стекла.

— Он что-то делает со стеной, — сказал он.

— Пусть, — ответил Берг, не поднимая головы от бумаг. — Бетон толщиной в полметра. Ему понадобится тысяча лет, чтобы проковырять дыру.

Берг ошибался. Ему понадобилось девять лет.

Но этого тогда никто не знал.

ПИСЬМЕНА НА СТЕНЕ

Четырнадцать лет. Если бы кто-то сказал ему это слово — «четырнадцать», — он бы не понял. Но его тело знало. Тело вытянулось, окрепло, налилось странной, угловатой силой. Плечи стали шире, голос — ниже. Он просыпался по ночам от снов, которых не понимал, и лежал в темноте, чувствуя, как кровь стучит в висках. В нём происходили перемены, которым он не знал названия. Половое созревание. Гормональная буря. Подростковый возраст. Все эти слова были для него пустым звуком — точнее, даже не звуком, потому что он никогда их не слышал. Но сама буря была реальной. Она накрывала его волнами — то яростью, то тоской, то странным, беспредметным желанием, которое не находило выхода.

Он изменился и внешне. Волосы, которые никогда не стригли, свисали до пояса — спутанные, грязные, свалившиеся в колтуны. На лице появилась первая редкая поросль — он не знал, что это борода, он просто чувствовал новые волоски на подбородке и трогал их пальцами, удивляясь. Тело покрылось шрамами — от царапин, от ударов о стены, от попыток разбить стекло. Ногти на правой руке так и не отросли нормально после того случая, когда он сломал пальцы. Они росли криво, уродливо, и он часто обгрызал их — это успокаивало.

Но главные изменения были внутри.

Его язык вырос. Не просто вырос — взорвался. За семь лет, прошедших с того момента, как он изобрёл первые четыре слова, его словарь расширился до тридцати знаков. Тридцать — не пять тысяч, как у обычного подростка, но эти тридцать были его собственными. Он не получил их в наследство от культуры, от родителей, от книг. Он создал их из ничего — из бетона, из голода, из одиночества, из отчаяния.

Каждый знак имел историю. «Йа» — я. Он помнил день, когда впервые произнёс этот звук, глядя на свои руки. «Мок-ка» — вода. «Гум-ма» — еда. «Ссс-xxx» — холод. «А-у» — вопрос, обращение. Это были старые слова, проверенные, надёжные. Но теперь к ним добавились новые.

«Ток-ток» — стучать. Он изобрёл это слово, когда впервые попытался достучаться до тех, кто за стеклом. Звук подражал самому действию — костяшки о стекло, тук-тук-тук. «Ток-ток» значило не просто «стучать», но и «звать», «просить внимания», «требовать ответа».

«Хаа-ха» — смех. Он изобрёл это слово, когда впервые засмеялся — не рефлекторно, а осознанно. Это случилось, когда он смотрел на своё отражение в луже и вдруг увидел, какое у него смешное лицо — перекошенное, с оттопыренными ушами. Он засмеялся, и смех вырвался из него помимо воли: «хаа-ха-ха». Потом он повторил этот звук специально — и понял, что может вызывать его по желанию. Смех стал словом, а слово стало инструментом. Когда ему было

особенно плохо, он говорил «хаа-ха» — и становилось чуть легче.

«Нгга-а» — боль. Гортанный, глубокий звук, который рождался где-то в груди. Он использовал его, когда ударялся, когда резался, когда голод становился невыносимым. «Нгга-а» было не просто описанием боли — оно было самой болью, заключённой в звук. Произнося его, он как будто выдыхал боль наружу, освобождался от неё.

«Мммур-р» — тепло, удовольствие, покой. Этот звук он изобрёл, когда впервые почувствовал, как после долгого холода температура в камере поднимается, и по телу разливается блаженство. Звук был похож на мурлыканье — низкий, вибрирующий, успокаивающий. Он мурлыкал себе под нос, когда ел, когда лежал в темноте перед сном, когда рисовал на стенах.

«Тсс-и» — тишина. Шипящий звук, которым он успокаивал сам себя, когда кричать было бесполезно. «Тсс-и» — замолчи, перестань, хватит. Он говорил это себе, когда ярость зашкаливала, когда хотелось биться головой о стену. «Тсс-и, тсс-и», — шептал он, и ярость отступала.

«Ууу-ф» — усталость. Выдох, долгий, протяжный, как будто весь воздух выходит из лёгких разом. Он говорил «ууу-ф» после долгого дня (хотя не знал, что такое «день»), после того как исчерпывал все силы на попытки докричаться или достучаться. «Ууу-ф» — я больше не могу. Но проходило время, силы возвращались, и он снова вставал и про-

должал.

Были и другие слова. «Крак» — ломать, разрушать. «Шшш-и» — мочиться. «Гхм» — запах, вонь. «Туп-туп» — шаги (хотя он никогда не слышал чужих шагов, только свои собственные). «Лаа-ла» — петь, песня. «Ммм-з» — сон. «Пфф» — дуть, ветер (он чувствовал ветер только из вентиляции, но этого было достаточно, чтобы изобрести слово).

И самое сложное слово — «йа-а-у-мок-ка-гум-ма-sss-xxx-нгга-а». Длинная цепочка, которая значила примерно «я хочу пить, есть, мне холодно и больно» — всё сразу. Отчаянный крик, в котором спрессовывались все потребности разом. Он использовал это слово редко — только когда становилось совсем невыносимо. Это слово было молитвой.

Но слова были только половиной его языка. Вторая половина была на стенах.

Стены камеры теперь представляли собой сплошное полотно. Ни одного свободного сантиметра серого бетона — всё было покрыто знаками. Он рисовал их ногтями, когда ногти ещё были. Потом, когда ногти сломались окончательно, он начал рисовать краем миски. Потом — собственными зубами, царапая бетон резцами, пока дёсны не начинали кровоточить. Потом он нашёл способ делать краску из еды — смешивал кашу с водой, получалась жидкая паста, и он наносил её пальцем на стену. Паста засыхала и темнела, и буквы — буквы ли? — знаки проступали на бетоне, как древние

письмена на скалах.

Его письменность развивалась. От пиктограмм — прямых изображений предметов — он перешёл к идеограммам. Кружок с точкой («гум-ма») теперь обозначал не только еду, но и всё, что связано с едой: голод, насыщение, желание есть, вкус (хотя он не знал, что такое «вкус» в человеческом смысле — его каша была безвкусной). Волнистая линия («мок-ка») обозначала не только воду, но и жажду, и влажность, и лужи на полу, и слёзы. Человечек («йа») стал обозначать не только его самого, но и любого, кто мог бы существовать — гипотетических Других, тех, кто за стеклом, кого он никогда не видел, но в чьё существование верил.

Он создал глагольные формы. Две ноги, пририсованные к человечку, обозначали движение — «идти». Человечек с поднятой рукой — «хотеть», «просить». Человечек с опущенной головой — «спать», «уставать». Человечек, нарисованный лёжа, — «болеть», «умирать». Он ещё не знал, что такое смерть, но он уже изобрёл знак для неё — неподвижный человечек с закрытыми глазами (две чёрточки вместо кружков).

Он создал отрицание. Это было трудно — как изобразить «нет»? Как нарисовать отсутствие? Он решил проблему гениально просто: он перечёркивал знак. Кружок с точкой, перечёркнутый линией, значил «нет еды». Волнистая линия, перечёркнутая, — «нет воды». Человечек, перечёркнутый, — «я исчезаю», «меня нет», «я умираю». Перечёркивание

стало самым страшным знаком в его языке. Когда он рисовал перечёркнутого человечка, он плакал.

Он создал вопрос. Вопросительный знак в его письменности выглядел как спираль — линия, закрученная внутрь себя. Спираль значила «неизвестность», «непонятность», «то, на что нет ответа». Он ставил спираль после любого знака, и это превращало утверждение в вопрос. «Гум-ма» плюс спираль — «будет ли еда?» «Йа» плюс спираль — «кто я?» «Стекло» (он изобрёл знак для стекла — прямоугольник с точками внутри, обозначающими тех, кто прячется) плюс спираль — «кто вы? почему вы там? когда вы выйдете?»

Этот последний знак — «стекло-спираль» — был самым частым на его стенах. Он повторял его снова и снова, как навязчивую мысль, как молитву без ответа, как крик в пустоту. «Кто вы? Кто вы? Кто вы?»

Учёные за стеклом наблюдали за этой эволюцией с нарастающей тревогой. Не с восторгом — восторг закончился несколько лет назад. Именно с тревогой. Потому что мальчик теперь не просто существовал — он думал. И его мысли были записаны на стенах. И каждый, кто смотрел на эти стены, мог прочитать их.

Морено первым попытался расшифровать его письменность систематически. Он проводил часы перед мониторами, фотографируя стены, зарисовывая знаки, составляя словарь. К четырнадцатому году эксперимента словарь Морено насчитывал те же тридцать знаков, что и у мальчика. Морено

выучил его язык. Он был единственным человеком на Земле, который мог читать на языке, изобретённом в одиночной камере.

— Это не просто знаки, — сказал он однажды вечером, когда они с Ким сидели в его кабинете. — Это литература.

Ким подняла бровь.

— Литература? В камере?

— Посмотрите сюда. — Морено разложил на столе фотографии. — Вот эта последовательность знаков. Я перевёл её. Слушайте: «Йа. Мок-ка. Нет мок-ка. Йа ждать. Йа ждать долго. Йа устать. Йа лечь. Мок-ка прийти. Йа пить. Йа рад. Хаа-ха.»

Он поднял глаза на Ким.

— Это рассказ. Простой, но рассказ. О том, как он ждал воду, устал ждать, лёг, и вода пришла. В narrative arc. Завязка, развитие, развязка. У него есть нарратив. Он рассказывает истории.

Ким взяла фотографию. Всмотрелась в знаки — кружки, линии, человечки, спирали. Они ничего ей не говорили. Но Морено видел в них смысл. Он видел историю.

— А вот это, — Морено протянул другую фотографию, — это стихотворение.

— Стихотворение?

— Смотрите. Здесь ритм. Повторяющиеся элементы. «Мок-ка. Мок-ка. Гум-ма. Мок-ка. Ссс-xxx. Нгга-а. Мок-ка.» Это почти хайку. Вода. Вода. Еда. Вода. Холод. Боль.

Вода. Это его мир, сжатый до пяти понятий. Это поэзия.

Ким долго смотрела на фотографию. Потом сказала:

— Он пишет стихи в клетке. А мы сидим здесь и читаем их. Как тюремщики, которые подслушивают молитвы заключённого.

Морено кивнул.

— Именно так. Мы — тюремщики.

В камере тем временем мальчик работал над чем-то новым. Он не просто рисовал отдельные знаки — он создал композицию. На самой большой стене, той, что была напротив стекла, он начал рисовать историю своей жизни. Не потому, что он думал о ней как об «истории» или «жизни». Просто ему нужно было понять. Нужно было собрать всё воедино. Нужно было увидеть картину целиком.

Он начал с левого верхнего угла. Там он нарисовал темноту — просто закрашенный участок стены, чёрный от каши, смешанной с грязью. Это было начало. То, что было до всего. Тьма. Потом — свет. Он нарисовал лампу (кружок с лучами) и человечка под ней — маленького, беспомощного. Это был он сам, каким он себя не помнил, но каким догадывался.

Дальше шла последовательность событий. Миска с едой. Лужа на полу. Отражение в луже — два человечка, один над водой, другой в воде, и между ними волнистая линия. Страх перед отражением — человечек с открытым ртом (крик) и разбегающимися в стороны линиями (ужас). Стекло — прямоугольник с точками. Ладонь на стекле — его и та, другая,

которую он не видел, но чувствовал. Разбитые пальцы — человек с покалеченной рукой, и капли крови, падающие на пол.

Он рисовал свою жизнь, и жизнь обретала смысл. Не тот смысл, который вкладывают в это слово философы. А простой, зримый смысл: вот что было. Вот что есть. Вот что, возможно, будет. Прошое, настоящее, будущее — он не знал этих грамматических категорий, но он уже мыслил ими. Он рисовал прошое слева, настоящее в центре, будущее справа. Будущее пока было пустым — только знак спирали, «неизвестность».

На это ушло несколько месяцев. Он работал медленно, тщательно, как средневековый монах, переписывающий манускрипт. Еда засыхала и осыпалась — он наносил новые слои. Вода смывала рисунки — он восстанавливал их. Крысы, которые иногда проникали в камеру через вентиляцию, оставляли следы на стенах — он прогонял их криком и закрашивал повреждения.

Крысы. Они появились на одиннадцатом году и стали частью его мира. Сначала он боялся их — серые, быстрые, с длинными хвостами. Они не были похожи на него. Они не были похожи на отражение в луже. Они были другими. Он кричал на них, кидался миской. Но они возвращались. Они были настойчивы. Они хотели есть — так же, как он. И постепенно он привык к ним. Назвал их — не индивидуально, а общим словом: «цвик-цвик», звук, который они издавали.

«Цвик-цвик» стали частью его языка. Он даже нарисовал их на своей фреске — маленькие фигурки с длинными хвостами, крадущиеся по нижнему краю стены.

Он иногда говорил с ними. Не ждал ответа — просто говорил. «Цвик-цвик, — шептал он, — гум-ма пришла. Ешьте». И крошил им кашу. Они ели, и он смотрел на них, и в груди разливалось странное тепло — не то, что от сытости, другое. Он не знал слова «забота». Но он заботился о крысах. Они были единственными живыми существами, которых он мог видеть, слышать, кормить. Они были его стадом. Его племенем. Его народом.

Однажды он нашёл мёртвую крысу. Она лежала в углу, неподвижная, холодная. Он трогал её пальцем, переворачивал, пытался разбудить — «цвик-цвик, вставай». Она не вставала. Он не понимал. Он никогда не видел смерти. Он попытался накормить её — поднёс кашу ко рту, но рот не открывался. Он попытался напоить — капал водой на морду, но она не пила. Крыса была мёртвой.

И тогда он понял. Не сразу — это заняло несколько часов. Он сидел над крысой и думал. «Она не двигается. Она не ест. Она не пьёт. Она не "цвик-цвик". Она — как стена? Как миска? Как вода? Она стала вещью?» Это была первая абстрактная мысль в его жизни. Мысль о смерти. Мысль о том, что живое может перестать быть живым. Что движение может прекратиться. Что звук может умолкнуть. Что он сам — «йа» — тоже может перестать быть.

Он посмотрел на свои руки. Они двигались. Он сжал кулаки — разжал. Живые. Потом он посмотрел на свою фреску на стене. Там был перечёркнутый человечек — «смерть». Он изобрёл этот знак раньше, не понимая до конца, что он значит. Теперь он понял. Перечёркнутый человечек — это крыса в углу. Это неподвижность. Это тишина. Это конец.

Он взял мёртвую крысу и положил её под стекло. Туда, где обычно рисовал знаки для тех, кто прячется. Он положил её и отошёл. Он ждал. Он думал: «Они увидят. Они поймут. Они ответят».

За стеклом Ким закрыла рот рукой.

— Он положил крысу, — прошептала она. — Мёртвую крысу. Как подношение. Как жертву.

— Как сообщение, — сказал Морено. — Он говорит нам: «Смотрите. Это смерть. Я понял, что такое смерть. Объясните мне. Помогите понять».

— Мы не можем, — сказал Берг. — Мы не вмешиваемся.

— Тогда он поймёт сам, — сказал Морено. — Он всё понимает сам. Всегда понимал.

Крыса лежала под стеклом два дня. Потом начала пахнуть. Мальчик смотрел, как она меняется — вздувается, темнеет, источает запах «гхм». Он изобрёл новый знак — «портча», разложение. Человечек, от которого отходят волнистые линии с запахом. Он добавил этот знак на свою фреску, рядом с перечёркнутым человечком. Смерть и разложение. Конец и после конца.

Потом он убрал крысу — закопал в углу, где бетон был мягче, накрыл кусками отколовшегося цемента. Это была первая могила в его мире. Он постоял над ней и сказал: «Цвик-цвик. Тсс-и». Крыса. Тишина.

И вернулся к своей фреске.

Теперь он знал, что должен нарисовать будущее. Не просто спираль неизвестности, а что-то конкретное. Он сел перед стеной и задумался. Чего он хочет? Раньше он хотел простых вещей — еды, воды, тепла. Теперь он хотел другого. Он хотел, чтобы стекло исчезло. Хотел увидеть тех, кто прячется. Хотел выйти из камеры. Хотел узнать, что там — за стенами, за стеклом, за пределами его мира.

Он начал рисовать. Он рисовал себя — человечка «йа», но больше, чем обычно, во всю стену. Человечек стоял перед стеклом. Стекло было нарисовано треснутым — он помнил, что когда-то уже рисовал трещину. Теперь он нарисовал стекло, разбитое вдребезги. Осколки падают. А за стеклом — он не знал, что там, поэтому нарисовал свет. Просто свет. Много света. И в этом свете — фигуры. Не одна, а много. Они стояли и ждали его. Они протягивали руки. Они говорили — из их ртов выходили линии со знаками, которых он ещё не изобрёл, но которые должны были означать «добро пожаловать», «мы ждали тебя», «ты не один».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.